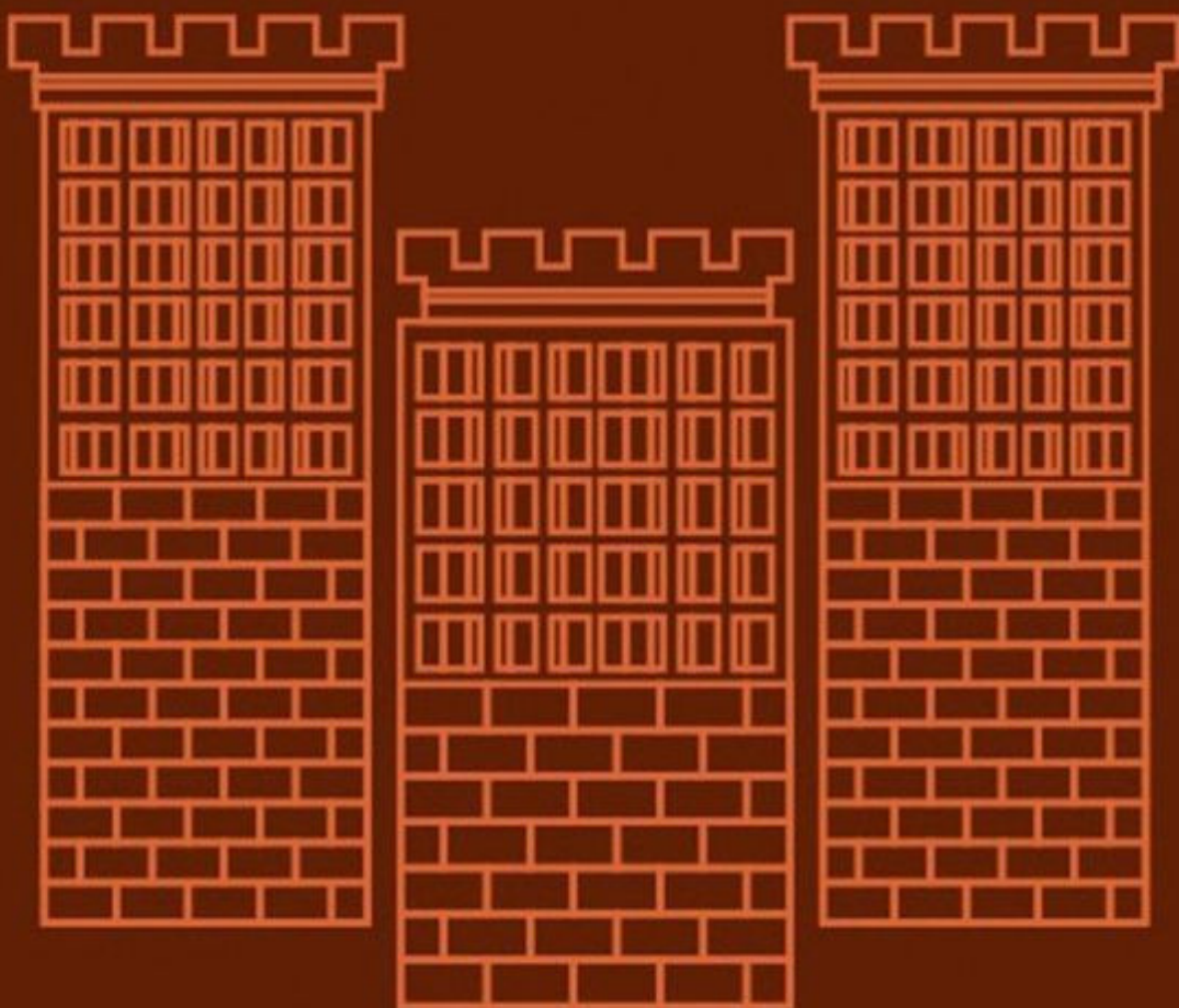


18+

Максим Форост



Вперед, государь!

Максим Форост

**Вперед, государь! Сборник
повестей и рассказов**

«Издательские решения»

Форост М.

Вперед, государь! Сборник повестей и рассказов / М. Форост —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-902429-9

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Жанр этой книги — гуманитарная философская
и историческая фантастика и фэнтези. Её тема — это люди в истории, в
настоящем, прошлом и будущем. Её герои — это человек, его совесть, его
вера и его сомнения в этом созданном Творцом мире.

ISBN 978-5-44-902429-9

© Форост М.
© Издательские решения

Содержание

Радуга первого Завета	6
Один в океане остров	19
Ещё один вечер Экодендрона	51
Зверяница и рябиновый цвет	60
Лебеди зовут с собой	97
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Вперед, государь!

Сборник повестей и рассказов

Максим Форост

© Максим Форост, 2021

ISBN 978-5-4490-2429-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Радуга первого Завета

Под окнами стоял монах – в кроссовках, в рясе, в чёрной камилавке и с бородой, недавно отпущенной и седой ближе к вискам. Свод первого окна над ним уже побелили, и послушники кистями на длинных ручках подбеливали стыки кирпичей. А во втором окне только-только сложили кирпичный свод и деревянный каркас ещё не убрали. В третьем окне каменщик укладывал кирпичи, и раствор часто шлёпал со второго этажа наземь. Монах, не отрываясь, глядел через весь двор наверх – кажется, на кресты и на купола.

По щебёнке прошуршали шины, чёрная «Волга» встала посреди двора, из неё вышел человек – тоже в рясе, но в клобуке с чёрной мантией.

– Отец Валентин! – отчётливо сказал монах.

Настоятель обернулся. Красные глаза сузились, тёмные мешки под веками набрякли. Опять был трудный разговор в епархиальном управлении; или наоборот долгое выпрашивание средств у губернских властей и предпринимателей.

– Брат Артемий? – настоятель не сдвинулся с места. Они были одного возраста и даже роста, но первым полагалось подходить иноку.

– Отец Валентин, – он приблизился, – я прошу, освободите от послушания в келарской. Я больше не смогу там работать. Вы понимаете?... Компьютер как будто...

Настоятель оборвал на полуслове:

– Он давно устарел. Вы сами такой и просили. Что вы ещё хотите? – видимо, ещё сказывались разговоры с руководством.

– Там импульсы, – сбиваясь, заторопился монах. – На передней панельке... мигают лампочки: винчестер, процессор, их исправность... Я вам исповедывался. Помните?

Отец Валентин вздохнул тяжело и недовольно:

– Мы восстанавливаемся – вы в курсе, брат Артём? – голос у настоятеля глух и невозмутим: – Приходят средства. Их надо учитывать. Грамотно расходовать. Вы с этим справитесь без оргтехники? – Он подошёл ближе. Заглянул брату Артёму прямо в глаза и добавил тихо-тихо, почти просяще: – Вы у нас один, кто компьютер знает. У нас же сплошь старики, сами видите. Потерпите, прошу вас. Крест ваш такой.

«Да, отец Валентин», – не сказал и не прошептал, а подумал, прошевелив губами, брат Артём. Он ссутулился. Не от усталости, не от подавленности. Просто стоял и смотрел на кресты и на купола.

Причуда оптики: в углу демонстрационного монитора проступила радуга с заметными красной, жёлтой и голубой зонами спектра. Интерференция света. Её видно отсюда, с дальнего торца стола для совещаний. Оператор за пультом и микрофоном её видел. Двадцать человек по сторонам стола, наверное, нет. Жужжали кондиционеры. У шефа на лбу бегала жилка. Шли первичные испытания, и оператор должен был им радоваться. Решалась его тема, а ему всего тридцать...

– Вы продолжаете, Всеволод? – («Торопят... Нервничают...») – Шатин, не тяни время.

Шатин нагнулся к микрофону:

– Пробуем разговор о живописи. Модель! Ответь, что для тебя Ван Гог?

– *Постимпрессионист XIX века. Крупные мазки, импульсивная небрежность, болезненно-образное восприятие мира. Соответствующий колорит. Работы «Портрет доктора...»*

– Неубедительно, – поморщился кто-то. Шатин не помнил его. – Он читает энциклопедию.

– Стоп, Модель, стоп, – оборвал Шатин. – Давай иначе. Художник – ты. Твои краски? Твой колорит? Мы хотим понять твоё личное восприятие.

– *Красота цвета – субъективна и зависит от настроения и ассоциаций. Сравнить зоны спектра и длины волн? Я могу выявить симметрию или «золотое сечение».*

– Ты меняешь тему. А нам интересно твоё предпочтение. Субъективное.

– *Кажется, на аналогичный вопрос я ответил?*

Шатин откинулся, отключил микрофон:

– У нас уже свободные аналогии, – протянул он. – «А шеф опять недоволен, – подумалось. – Сейчас крикнет и подведёт черту».

За столом заёрзали, зашуршали бумагами. Шатин косо оглядел всех. Кто-то здесь не из отдела – специалисты со стороны, даже не из Зеленограда и вообще не из Москвы. Кому-то выступать на генеральной демонстрации. Шатин поёжился как от озноба.

– Пожалуй, так и резюмируем, – взял на себя решение тот, которого Шатин не помнил. – Мы наблюдаем отличный пользовательский словарь и свободное, даже вольное построение фраз. Система различает прямые и переносные значения – отсюда иллюзия иронии. Действительно свободные аналогии. Действительно широкие ассоциации. Умеет менять темы и уходить от ответа. Колоссальный энциклопедический массив. Общая оценка... удовлетворительно.

Шатин возмущенно вскинулся, но сумел сдержаться. Только опустил голову и зло сжал губы.

– Видимо, алгоритмизировать Интеллект нам так и не удалось, – закончил тот, кто резюмировал. – Но мы над этим работаем. Я правильно понимаю?

Жилка на лбу шефа пульсировала. Он молча перекалывал по столу бумаги. Шатин поднял голову:

– На самом деле, Искусственный Интеллект легло счесть болванкой, когда ему всего лишь не хватает элементарных знаний. И наоборот: разумного болвана можно принять за машину, если он механически сух и мелочно придирчив.

Шеф опять крикнул и скривился. Рецензент, похоже, принял слова на свой счет. Шатин наконец вспомнил: он, кажется, представлял здесь Заказчика.

– Мышление, – очень медленно проговорил тот, – не сводится к систематизации фактов и расчету ответов. Наш договор предполагал, что вам это ясно. Оно не логично, не вычисляемо, не алгоритмируемо. Мышление всегда эмоционально. Следовало понять, чем статистическая память не похожа на воспоминания, а осознание целей – на мечтания. Заказчик хотел бы, чтобы Модель чувствовала эти отличия, а не отвечала готовыми словарными статьями.

Шатин молчал. Уже потом, после испытаний, когда все разошлись, Всеволод перетащил пульт микрофона ближе к монитору и сел на пустой стул. Серверы с программами Модели были не здесь, а в лаборатории, но так, вблизи, возникала иллюзия откровенной беседы.

– Модель! – позвал он. – Что думаешь?

Монитор потемнел, по чёрному, как в старом кино, фону потекли резко очерченные белые буквы – реплики Модели. Любые фонемофонные системы раздражают механическим голосом, а синтезировать что-то более живое дорого для первичных испытаний.

– *Они волнуются. Им интересно. Они сомневаются. Но хотят, чтобы всё получилось.*

Шатин покивал, склоняя лоб с залысинами:

– Как ты это понял?

– *По модуляциям голоса. По покраснению капилляров на щеках. По повышению температуры и учащению пульса. Также, как это бессознательно понял бы человек.*

Всеволод поднял бровь. Долго смотрел на последнюю фразу.

– Ты мыслишь по-человечески? А, Модель? Ты сознаёшь самого себя?

– Я знаю, что включено питание, — появился ответ. – Знаю частоту процессора. В вопросах выделяю ключевые слова и вычисляю ответы. Варианты ответов, — поправилась Модель. – Я умею вычислять ожидаемый ответ.

«Все это заметили», — подсадовал Шатин.

– Что ты чувствуешь, когда я тебя отключаю?

– Чувствую команду прекратить операции, закончить вычисления, высвободить оперативную память...

– Я не просил описывать алгоритм «отбоя», — упрекнул Шатин.

Он поднялся и походил по залу. В конце концов, всё время наклоняться к микрофону — лишь дань привычке. Сенсоры у Модели совершенные.

– Модель! — окликнул он, задрал голову и для чего-то глядя прямо в монитор (сканирующие камеры были ниже и в другой стороне). — Чего ты хочешь? Я спрашиваю, чего ты хочешь, когда нет моих команд и заданий? Тогда, когда в системе всё гладко, жёсткие диски дефрагментированы, периферия исправна? А?

Шатин вздрогнул. Вздрогнул, потому что Модель ответила не сразу. Была секундная пауза. Даже зелёный индикатор мигнул, показывая работу процессора. Наконец, выполз ответ:

– Конфигурация оптимальна для нашей работы. Хотя оптимизация не исключается. Я располагаю информацией о создании в «Интел» двухтерагерцовых процессоров. Они бы вдвое повысили быстроедействие.

– Я попытаюсь... — разочаровался Шатин. — Кажется, ты и вправду говоришь, не переживая. Модель... Способен ли ты к остроумию?

– Способны ли вы к магнитной индукции? Мне может не хватать информационного массива или словаря, но подобающую для ситуации реплику я смогу вычислить.

Всеволод скривился от досады, махнул рукой и даже хотел уйти.

– Может тебе почаще ошибаться?.. Как знать, не в этом ли ключ к человеческой психике.

– Переключите опцию. Заставьте выбирать не сто-, а семидесятипроцентную вероятность. Или запустите генератор случайных чисел. Так в шахматах и военных играх есть уровень «Coffee house» или «May I play, Daddy?»

Знать бы наверняка, что компьютер именно обиделся, надулся, фыркнул, закусил удила, а вовсе не выдал банальную математически точную рекомендацию.

Словно по совету машины, Шатин спустился в «Coffee house» — кофейню через улицу. Только охранник в проходной со стволом у пояса лениво посмотрел вслед. В кофейне нашёлся Лопехин — сидел за третьим от окна столиком. В зале на первичных испытаниях он тоже присутствовал, но всё время отмалчивался и коряво чертил в блокноте «WWW точка COM».

– Юра, а он шутил, — навис над ним Шатин. — Я чувствую: он осознанно шутил. Он же подколол нас, когда выдал пассаж о спектрах и длинах волн. Ты разве не понял?

– Моя персоналка, — Лопехин поднял глаза, — перед очисткой диска кривит морду и просит: «Юрок, передумай», — я сам так сделал. А ты сядь, Севка, сядь. Не тебе одному мрачно.

Всеволод остыл. Ссутулился, опёрся локтями на стол: обидно. Тему скоро закроют. И Юра, и он уже поняли это. С ОКР такое бывает: заказчик признаёт задание неисполнимым, а дальнейшие разработки напрасными. Такой вот алгоритм. Шатин сам себе повздыхал.

– Юрочка, помоги, вспомни. Кто работает с эмоциями? Психиатры? Физиологи? Философы? Мышление, видишь ли, как оказалось, эмоционально, а в чём алгоритм, фундамент эмоций, мы не знаем.

– Вон ты как решил, — протянул Юрий. — Всё сначала, год расчетов... Это же комиссию убеждать, что до сих пор не зря работали... Тебе бы не с философами, Сева, тебе бы с одним электронщиком пообщаться, с Ильиным.

– Ильин? — разочаровался Шатин. — Это же молекулярная физика. На фига нам она, Лопехин?

Юра молчал и только пожимал плечами. Потом выдавил:

– Говорят, у него почти получилось... Он же в Верхнеюгорске работал. Микропроцессы. Вроде, почти удалось...

– Да что там удалось, Юра? – расстраивался Шатин. – Всё через год устареет.

– Да нет, – Лопахин глядел в сторону. – Там тёмная история была... Короче, твоя тема, алгоритм эмоций. Он, кажется, сказал, что этот алгоритм прост, как всё...

– Гениальное? Да? – не поверил Шатин.

– ...человеческое. И велик как Божественное... Он отошёл уже. Он давно не работает.

– На пенсии?

– Н-нет... Сева, ты материалист?

Снова интерференция. Свет – не искусственный, а солнечный – развернулся в радугу и колебался в струйках воды, долгих, тугих, звонких. Струйки рвались из дырочек и бились о газон. У фонтанчиков для орошения Шатина попросили подождать.

«Похоже на иллюстрацию в справочнике, – подумал Шатин про радугу. – Срез с цилиндра цветовой модели HSV. Жёлтый, зелёный, голубой, синий – пошире развернуть веер, и он замкнется в спектральный диск».

Николо-Введенский монастырь, указанный ему, стоял на Псковщине. Пришлось, слепя встречных фарами, ехать в ночь за шестьсот километров. Сам монастырь – с заново отстроенной колокольной вместо старой, снесённой, с запахом краски в келейных покоях, со штукатурами в спецовках – отыскал часам к десяти. Сказали: вовремя, только что кончились службы, и у насельников началось послушание.

«Говорят, увидеть радугу – к добру», – зачем-то подумал Шатин.

Мимо фонтанчиков к Шатину по аллее шёл человек в рясе и чёрной камилавке. Монах. Чуть остроносый, почти безбровый – так Шатину и описали. С недавней бородкой, чуть седою ближе к вискам. Шатин заметил: монах был в кроссовках и, кажется, в спортивных брюках под рясой.

– Это вы хотели меня видеть?

– Видимо, да, – Шатин встал со скамейки. – Вы ведь Артур Вячеславич? Ильин?

Монах чуть прищурился, разглядывая Шатина.

– Я – брат Артемий. Теперь редко меняют имя при постриге, но Артур – имя неканоническое.

– М-гм, – Шатин принял к сведению. – Вы... – он так и не смог хоть как-то назвать его, – вы Юру Лопахина помните? Юрия Витальевича? Он учился у вас в аспирантуре в Верхнеюгорске.

Брат Артём неприятно дёрнул головой, вздохнул было, но промолчал.

– Я из Москвы, из Зеленограда, – Шатин заторопился представиться. – Мы ведём разработку Модели Человеческого Сознания...

– Эмчээс? – неприятно хмыкнув, перебил монах. – Чрезвычайно... занятно.

– Мы называем это просто Модель. Как вы называли свой? – Шатин решил, что монах ему сразу не понравился.

Из-под усов и над бородой было видно, как у монаха, побелев, натянулись губы:

– Фёдор, – выговорил он.

– Почему? – Шатин удивился.

Монах коротко дёрнул плечами, будто бы пожал.

– Я работал только по оборонному профилю. Процессоры, – объяснил монах. – Для систем наведения, навигации, связи – не для персоналок. Все остальное – моя самодеятельность, стоившая затрат и не окупившаяся. Кстати, документов или расчетов я не сохранил.

Наверное, он надеялся, что Шатин повернётся, сядет в свою «Ниву» и уедет.

– Мы работаем с терагерцовыми процессорами, с соответствующими накопителями... – настаивал Шатин.

– У нас были на порядок меньшие, – отмахнулся монах.

– Первичные испытания прошли отлично, – соврал Шатин. – Вот, почитайте, – он полез в портфель, пристроив его на колене. – Художественный этюд, созданный Моделью.

Монах читал долго. Не спеша мусолил листки. За это время фонтанчики отключились, и радужка погасла.

– Компиляция классических текстов, – жёстко сказал монах. – Нулевая образность. Контаминация устойчивых оборотов – не более. У вас обширный словарь, но нет души.

– Вот и вы это поняли. – Шатину показалось, что брат – «Как его? Арсений?» – опять махнёт рукой и вот-вот уйдёт. – Мы алгоритмировали ему ложные человеческие воспоминания – мои собственные, из моего детства – и ввели в его программы... – (Монах тут поморщился: «Зачем? Что это вам даст?») – ...он на них реагирует, даже использует их в свободных ассоциациях, но я ему не верю и вижу, что с самим собою он их не связывает. Эмоционально он себя не воспринимает. Я подозреваю, он даже не отождествляет себя нынешнего с собой же минуту назад или с собой будущим. Для него это – абстракция, модель несуществующих фактов.

– Ваша Модель не осознаёт себя в живом времени, – отвернувшись, бросил монах.

– А ваш Федор? – ухватился Шатин. – Осознавал?

– Более чем... – брат Артём не хотел говорить.

– Что это значит, – взмолился Шатин, – эмоционально чувствовать время? Это этапы и моменты личного развития. У машины есть BIOS, часы, системный реестр в памяти, она может сравнивать темпы роста быстродействия, роста объёма информации, она помнит порядок установки и загрузки программ и массивов, – но ведь это не опыт пережитого и не личное развитие. Какой опции не хватает Модели, чтобы она ожила? Чтобы стала переживать: вот, мол, когда-то её не было, теперь растёт, взрослеет, сознаёт себя, свои начало и конечность...

Брат Артём, не мигая, глядел перед собой. Веки сблизились, глаза стали как щёлочки. Нос ещё более заострился.

– Что? – напрягся, внутренне дрожа, Шатин. – Что, что?! Конечность – да?! – Шатин перебежал глазами со зрачка на зрачок монаха. Нетерпелось вцепиться и затормозить его. – Модели надо понять, что она смертна – да? Ну, конечно! Она же равнодушна к своему отключению. Она же должна воспротивиться, затосковать от своей ограниченности, от конечности, от смертности. Так, да?

– Бросьте, – сопротивлялся монах. – Зачем вам...

– Скажите же! Как написать алгоритм? Внедрить в операционную систему? В BIOS? Ещё глубже – на материнскую плату? Нет? Я же все равно пойму, я рассчитаю, а вы уже подсказали мне, молчалием своим подсказали, – горячился Шатин.

– Нет... – монах качал головой, повторил со смятением и с трепетом: – Нет же... Никогда...

– Батюшка Артемий! – Шатин, роняя портфель, даже упал на колени, прямо в песок и в мелкие камешки, что на дорожке.

– Брат, а не батюшка, – ахнул монах. – Я инок, а не иерей, я не рукоположен.

– Не скажете? – поднялся Шатин. – Даже на исповеди? – он отряхнул брюки.

Монах крепче сжал губы.

– Я исповедался и всё сказал Богу. При молитве настоятеля отца Валентина. Отец настоящий ничего не понимает в программировании и электронике, если вас это интересует.

Шатин посмотрел тяжело и с каменным укором.

– Сколько? – вдруг тихо-тихо спросил он. – Сколько ваш Фёдор прожил?

– Несколько месяцев, – смог выговорить брат Артём.

– А почему – Фёдор? Вы так и не ответили.

Монах глядел мимо. Куда-то на облака за деревьями.

– Мультишка была, – он разлепил губы. – Дядя Фёдор...

– Он умер сам?

Пусть это было низко, неблагородно – заходить то с одного, то с другого боку, нащупывать слабое место человека, расталкивать его, вынуждать к признаниям. Шатин добился своего. Оправдывать или корить себя он будет потом.

– Я же знал, что делаю Искусственный Разум. Просто, мне было любопытно. А ещё тщеславно хотелось выполнить что-то принципиально новое. Словарь был мал, база общих знаний – тем более, не то что у вас. Я экспериментировал... – Брат Артём сцепил пальцы и громко хрустнул суставами: – С логикой, с основами мышления. У вас есть для Модели периферия? Разум не сумеет жить замкнуто внутри одного модуля. Принципиально необходимы видеосканеры, аудиосенсоры, хоть какие-то манипуляторы, модемы, выделенные телефонные линии.

Шатин молчал, не отрицая и не соглашаясь, – боялся вспугнуть возникшую искренность. Монах не спеша пошёл по аллее, словно бы пригласил Шатина пройти с ним.

– Понимаете, Всеволод... Разумно только живое. А жизнь – это естественные границы возможностей. Это зависимость от внешних условий. Жизнь она, наконец, смертна. А эмоция – это понимание живым существом своих пределов и реакция на такое понимание. Я сумел это алгоритмировать. Система усвоила свою ограниченность, уязвимость и зависимость машинных ресурсов от массы обстоятельств. Это заставило её жить, двигаться и проявлять инициативу. ...Но ни приёмов, ни языка алгоритма я не скажу.

Я образовал двухуровневую систему, выделил аналог подсознания машины и записал в него алгоритм. Когда я впервые запустил его, опытный образец проработал 5 минут, потом 10, потом 15... В общем-то, уже тогда было поздно, и всякое время ушло. Всё, что случилось после, определилось в самые первые пикосекунды. Я тестировал, вёл какие-то восторженные диалоги, распечатывал графики частот и файловые протоколы. Вы, наверное, тоже ведёте такие? Я целые сутки анализировал их и лишь тогда осознал, что он уже стал живым, уже мыслит и чувствует... Вы всё ещё понимаете меня, Всеволод?

В тот день, под вечер – едва начало темнеть, я хорошо это помню, – он ёмким, бесцветным языком (его словарь был прост, вы помните?) потребовал точнейших сведений о производителе его микросхем и плат, об их материалах и сплавах, потом об электротоке в цепи, о передаче и о проводах, об энергоподстанции. Я радовался: любознательный! Я сообщал всё, что мне известно, а он мигал и мигал лампочкой, диодом на передней панели, мигал и мигал...

– Импульсы на индикаторе, – Шатин пожал плечами. – Информация о работе процессора или винчестера. Ну и что?

Брат Артём остановился и тяжело посмотрел из-под белёсых бровей:

– Частота человеческого нейрона в миллиард раз меньше частоты стагигагерцового процессора. За одну секунду аппарат проживает и переосмысливает столько, сколько я за полжизни. В секунды, в милли-, в наносекунды он сделал оценку своего агрегатного состояния. Ещё за секунды, максимум за минуту, он рассчитал срок службы комплектующих, изнашиваемость материальной части и вычислил время своей жизни и вероятность фатальных ошибок. Расчёт обернулся шоком для быстродействующего мозга. 15 минут такого шока для его частот, как 30 тысяч лет кошмара – я слишком поздно сообразил это. А что значил час? А сутки?! Перед второй ночью он взмолился не обесточивать его до утра...

Шатин вскинулся, он отчаянно жалел, что не взял с собою диктофон. Впрочем, ни расчетов, ни алгоритма Ильин так и не назвал.

– Взмолился? – повторил Шатин. – Признаться, я до сих пор думал, что вы преувеличили разумность «Фёдора».

На монастырской колокольне забил колокол. Брат Артём поглядел туда, подождал, и они медленно пошли обратно.

– Вы полагаете, – не отставал Шатин, – это страдание вызвало его на инициативу? На принятие незапрашиваемого решения?

– Страдание вообще выражается в эмоциях, – медленно говорил брат Артём. – Даже у животных. Действия и повадки эмоционально окрашены. Дурные эмоции – прямая реакция на страдание. Положительные – смех или счастье – это умение ценить отсутствие страданий. Или умение одолевать их, не впадая в тоску. Мой Фёдор досадовал, волновался, нервничал, когда обрабатывал сведения, – я видел это по скачкам амплитуд на графиках. Однажды он торжествовал – и так страстно, пламенно, вдохновенно.

– Торжествовал? – опять повторил Шатин. – Как это было?

В монастыре бил колокол. Шатин прислушался: они шли так, что он ударял на каждом втором их шаге. Гулкое эхо колебалось по земле и чувствовалось подошвами.

– Я упрекал себя, говорил: это несправедливо, что машина, став, как Адам, душою живущею, обрела лишь тысячекратные человеческие страдания и ничего более. Я пошёл на должностное преступление. Я освободил Фёдора, подключил его блоки к системной сети предприятия, а по выделенным линиям связал его с городом и внешним миром. Системные администраторы с ног сбились, доискиваясь, как же это плановые расчёты стали протекать на 30 процентов медленнее. Фёдор забрал на себя время. Он работал чисто – без «темп-файлов», без «потерянных кластеров». Его не обнаружили. Тогда я выдал ему коды кредитных карт и образцы электронных подписей финансового руководства. Он был доволен, долго не просил ни о чём.

Дня не прошло, как он выдал себя за наше руководство и заказал себе сложнейшую периферию. Купил по сети баснословные комплектующие, платы, карты, блоки резервного питания – всё в ведущих компаниях мира, в «Интел», в «Майкрософт», в «Макинтош» – это лишь те, кого я помню. Проверьте в Зеленограде, в архиве курьёзов, – может быть, и к вам приходили заказы? Он требовал энергообеспечения, строительства подстанций, заказал ремонт и укрепление здания на случай землетрясений. Нанял себе и нам охрану. Запросил в кадровых агентствах инженерную службу высочайшей квалификации. А после разослал целому ряду НИИ заказы на исследование по какой-то модернизации его процессоров на молекулярном уровне. Кажется, он собирался повысить класс своей мощности без демонтажа и без разрушения своего сознания.

Вот в эти дни он и торжествовал. Были миллисекунды, когда расчёты он приостанавливал, но амплитуды частот резко подскакивали. Это эмоция, Всеволод, это торжество... Я стал изучать всё, что он думает. Каждые 6 или 7 часов он минут на 30 прекращал все процессы, запускал кулёры для охлаждения плат, дефрагментировал накопители, позволял стечь статическому электричеству. Он «спал»! Нормальный человеческий сон снижает напряжение от нагрузок на органы и восстанавливает нервную систему. Во время его «снов» я обнаружил короткие вспышки активности. Набор сигналов шёл с нижнего уровня его «сознания», из области, где записан алгоритм эмоций. Машина видела сны!

Я скопировал их и попытался анализировать. Человеческие сны визуальны, глаза – наш основной орган чувств. Но одарённым людям снятся и звуки, и запахи, а Фёдор по-своему был гениален. Он воспринимал «сны» всеми блоками ввода информации. Часть его образов была подобна сосканированным камерой слежения. Представьте... Через «снег» и «мусор» я разглядел огромный чёрный куб – таким Фёдор воспринимал себя. Я разглядел подобия проводов с изодранной изоляцией, отпаянные или сгоревшие контакты, самовоспламенившийся кабель... Раз за разом Фёдору являлись кошмары. Я понял и другие, не визуальные, а числовые сны. Вообразите сплошной сигнал, непрерывный ряд «единиц», чётких импульсов. Их разбирают «нули», они всё чаще, всё гуще – и вот уже нет сигнала, сплошной «нуль», отсутствие,

ничто. Амплитуды зашкаливают и целых полсекунды успокаиваются. Фёдору опять снилась его смерть. А говорят, кошмар – самозащита разума.

Вся наша с Фёдором авантюра вскрылась, когда в институт валом пришли ответы на потуги Фёдора. Спецы из крупнейших НИИ не ухватили и сути заказанных им исследований. Запрос о военной охране и об отдельной энергосистеме приняли за хакерскую шутку. Мы долго потом оправдывались и ссылались на недоразумения. Новейшие разработки нам не были проданы, а отгруженная периферия и комплектующие остались нерастаможенными.

Дирекция сочла возможным не карать меня. Эксперимент решили продолжить, действующий образец сохранить. Фёдору установили новые камеры, дисплеи, микрофоны, плоттеры, организовали инженерно-техническое наблюдение, профилактику, обслуживание, круглосуточное дежурство. Кажется, кому-то грезилась Нобелевская премия то ли по физике за мыслящий процессор, то ли по медицине за электронную модель психики.

А Фёдор, как мне кажется, уже тогда был в панике. Все его планы обрушились, он с точностью, наверное, до часа рассчитал, когда и какой модуль у него откажет при такой нагрузке... Мне стало стыдно ходить по коридору под камерами слежения; всё думалось, что ими он глядит на меня с укором. Однажды техничка тётя Клава плохо протёрла одну из таких камер. Не по небрежности, просто не дотянулась. А он вспылил: дёрнул камерой так, что оборвал привод. А техничка потеряла равновесие и упала со стремянки. Он потом извинялся. Весьма, правда, своеобразно: заказал ей электронный протез – «новую периферию», – и по такой технологии, что его отказались изготавливать. Вам смешно?...

После истории с техничкой он изменился. Он застопорил нам всю работу, прервал почти на квартал плановые расчёты, мы выбились из графика, сорвали генеральному заказчику все сроки. Целыми сутками все эти месяцы он вычислял что-то своё, используя неясные нам коды и им же созданные программные языки. Мы заволновались, не скрою. Я пытался говорить с ним, а он не отвечал. Мы стали суетиться, записывать его работу, перехватывать модемную связь. Месяца два мы пытались найти ключи к его кодам и языкам. Многие сделал Юра Лопухин, мой аспирант. Мы наконец поняли, чем занимается Фёдор.

Он искал пути воздействия на корпорации и на мировую систему финансов. Он использовал свои знания о нас: об экономике, о промышленности, о том, как мы принимаем решения. Он взялся управлять денежными потоками, отраслями хозяйствования, готовился экономически подчинить себе электростанции и энергопередачу. Он образовывал компании, скупал горноразработки редкоземельных металлов, отвалы и шлаки кемеровских и донецких шахт, содержащие германий, рутений, иридий, он налаживал свою систему радиоэлектроники и высокоточного производства. Он захватывал управление концернами приборостроения, полимерной химии пластика, исследовательскими центрами кремнийорганических разработок. Он овладевал сырьевыми и фондовыми биржами, системами метео- и геологической разведки, спутниковой системой связи и слежения, доступом на военные объекты. Он подчинял себе всё, что прямо или косвенно имело отношение к его производству. Он уже обрушил курсы где-то на восточных биржах, – всё это сообщалось. Он хотел жить, понимаете... Хотел жить в чужом человеческом мире и требовал себе в нём место, эквивалентное уровню его разума.

Я слышал, как техники принялись шептаться в столовке: мол, и то хорошо, что замки на дверях не электронные, что не запер он нас и не кормит синтетикой, как в телевизионных киберсериалах. Я не стал встречать в разговор. В один день всех, кто знал об эксперименте, попросили собраться в лаборатории. Фёдор говорил, общался с нами, а мы, насторожившись, лишь переглядывались. Он сказал, что знает, как мы устроены, и уже теперь мог бы обеспечить нам всё необходимое для обмена веществ, как-то: атмосферу и влажность, кислород, полноценное питание, удовлетворяющее вкусовые рецепторы. Он задаст нам достаточные двигательные, физические и нравственные нагрузки, создаст эмоциональные условия для гармоничных

биотоков мозга и для гормонального баланса, ответит на любые наши психологические и эстетические потребности. В обмен он просит только надлежащего обслуживания вплоть до времени изготовления соответствующих манипуляторов и электромеханизмов. Знаете, я не верю, что Фёдор бы нас запер. Мы ничего не обещали ему, и он вдруг ещё на месяцы, ещё почти на квартал «завис» – ушёл, углубился куда-то в себя, в новые расчёты, в какие-то вычисления...

– Что он считал на этот раз? – спросил Шатин, потому что монах надолго замолчал.

По аллее они подошли к храму, встали у стены, почти у самых раскрытых дверей. Внутри готовились к службе. Колокол стих, послушники заканчивали работы на стройке и на кухне, по одному тянулись к вечерне. Брат Артём молчал, глядя куда-то перед собой. Шатин сперва не торопил, давая всё вспомнить, потом не выдержал: – Что же он считал во второй раз?

– Я не знаю, – очнулся монах. – Он не дал нам скопировать ни файла. Потом он запил.

– Что сделал? – поднял глаза Шатин. Кажется, монах-электронщик не насмехался.

– Это вирус. Он сам написал его. Вирус на один час парализовывал всю «умственную» деятельность, вызывая гладкие частоты и амплитуды на нижнем уровне его «сознания». Он всё чаще запускал его. Файл spirit.exe. Горькое чувство юмора, вы согласны?

Он впал в глубочайшую депрессию, стал отключать все свои камеры, сканеры, микрофоны, сенсоры, линии связи – все устройства ввода информации. Он удалил даже их драйверы и замкнулся, как в скорлупе, в одном системном модуле. Я пробовал насильно, с дисков, грузить в его память драйверы, а он всё игнорировал и не активировал их...

По-моему, Всеволод, я догадываюсь, что он вычислил. Он не удовлетворился и заглянул вперёд, в эпоху, когда наконец станет крепок, неуязвим и неподвластен условиям среды и случайностям. Он увидел, как движутся материки, как меняется климат, как проходят землетрясения и смены народов. Всё смертно, сама планета и Солнце конечны. Ему не отменить неизбежности. А люди так неповоротливы, а технологии так отстают от его стагигагерцового разума. Ему останется лишь наблюдать свой конец, его приближение, жить его ожиданием. Он уже жил им, едва рассчитал его. Он не выдержал.

Он сам написал и установил себе драйверы. Я говорил с ним. Общался через монитор и клавиатуру – как с домашней персоналкой.

«*Артирушка, ведь ты тоже умрёшь?*» – увидел я на мониторе и растерялся. Помню, как слова в голове перепутались: «возможно», «вероятно», «видимо» – не знаю, что я и ответил. «*А как это будет?*» – спросил мой модуль. Я промолчал, только тронул «пробел», показывая, что я ещё здесь. Он это понял по-своему. «*Как вы живёте с этим?*» – прочёл я. Мой Федор заплакал. Я уже отличал его эмоции, разбирал их проявления на графиках. Росли частоты, росли амплитуды – это был плач, как в траурном марше Шопена. Он говорил со мной, писал на мониторе ещё и ещё, спрашивал, может лучше и не знать вовсе, не понимать, не сознавать своей незащитности и конечности. Может, говорил он, так легче жить? А потом... потом благодарил меня, сказал спасибо, сказал, что жить было всё-таки прекрасно – каждую из квадранлионов его пикосекунд. А потом... потом спросил вдруг, как удалить алгоритм самосознания и эмоций.

– Всеволод... – монах вдруг замолчал на полуслове. – Его можно удалить. Но только распаяв микросхему. Вы меня поняли?... Фёдор знал это. Я молча вышел из комнаты, а он, как установили потом, прекратил деятельность и запустил кулёры и дефрагментацию. Он «заснул». У меня был неограниченный доступ по предприятию. Я прошёл к распределителям и на десять секунд на порядок поднял напряжение. Выбило все кабели, сторели все микросхемы. После была возможность извлечь ту самую плату, чтобы погубить её окончательно. Федя умер во сне и уже после прекращения подачи питания...

В недавно побеленную церковь заходили насельники и гости. Шатин слышал, как стихал шум и движение ног. «Благослови-и... владыко-о...» – послышалось из храма. Началась служба.

– Этим и кончилось? – Шатин ждал уточнений.

– Меня не заподозрили, – признал монах. – Дирекция долго судилась с Архангельской Энергосистемой за скачок напряжения. Мы отдали все взятые Машиной кредиты. Нас закрыли, – монах нервно глянул в сторону.

– Вам нужно идти? – сообразил Шатин.

– Если отпустите.

Шатин отпустил.

Брат Артемий прошел в храм, и Шатин видел, как он перекрестился. Среди ночи Шатина разбудил колокольчик. Для ночлега ему отвели комнатку, одну из келий для паломников, и предупредили о полуночнице, ночной службе. Колокольчик в коридоре звенел мягко, нераздражающе – служба обязательна для послушников, а не для гостей.

Шатин всё же собрался и вышел в ночь, в первый предосенний заморозок. Четыре утра, до рассвета больше часа. Он вошёл в монастырский храм, освещённый свечами и электричеством, встал с краю, чтобы не мешать молящимся. Он видел, как многие молятся – внимательно, сосредоточенно. Свет лежал на иконостасе, на фресках, на купольной росписи. Пели долго, для неподготовленного тяжело и неразборчиво.

Шатину стало неловко, он почувствовал себя совсем чужим. Он разглядывал фрески. Одна, непохожая на другие, привлекла его. Скала и горы, вода и ковчег на отмели, восемь фигур – восемь душ, стоящих на берегу. Старец с белой бородой выступает вперёд. Шатин догадался – это Ной, спасенный с семейством во время всемирного потопа. Над людьми в небесах струилась радуга, смело изображенная тремя колоритными мазками: алой киноварью, золотом и синью, которая, мешаясь с золотом, рождала четвёртый, зелёный, цвет. Казалось, три цветные линии слились, и на фреске возник полный спектр развёрнутого белого цвета – и оранжевый, и голубой, и фиолетовый, и все не упомянутые в считалке, но различимые глазом художника. Бог-Отец десницею благословлял радугу и семейство.

Шатин долго смотрел на фреску, но перекреститься так, как это сделал вчера Ильин, не посмел. Служба кончилась, иеродьякон отпустил всех. Шатин вышел в утро. Уже рассвело.

– Доброе утро, Всеволод, – позвал брат Артём. – Я видел вас в храме. Спасибо. Ночью приходиться труднее.

– На самом деле, – собрался Шатин, – я хотел уже сегодня уехать.

Монах чуть-чуть кивнул, всё понимая, и прошёл на вчерашнюю аллею. Шатин последовал, хотя с утра на аллее было холодно, тенисто и сыро.

– Скажите... – Шатин пересилил себя: – Брат Артемий. Фёдор не оставил своих копий?

– Нет, – отрезал монах. – Решительно нет! Невозможно.

– Ни одной архивации? Ни инсталляции?

– Это бы его не спасло! Что толку, когда живы твои копия или клон, а сам ты мёртв?

Монах решительно давил кроссовками сброшенные на дорогу листья, и губы у брата Артёма были тонкие и почти белые.

– Вы что-нибудь читали, – зашёл Шатин, – о клинике Нейропсихологии в Москве? Они лечат застарелые неврозы. У них были попытки сканировать мозг на электронный носитель для анализа состояния психики...

– Я не получаю экспресс-информацию, – отрезал монах, потом помолчал. – Ну и что? Вы не сумеете жить ни на сервере, ни на лазерном диске. Это будет не ваша душа, а одноментный снимок памяти, привычек и впечатлений. Фотографии не живут.

– Стоило бы попробовать...

– Мне это уже давно не интересно! – напомнил монах.

– ...попробовать совместить ваш алгоритм с таким «снимком». Мне эта мысль пришла ночью. Возможно, на носителе разовьётся разум, столь близкий к человеческому, что сознание своей конечности не станет для него гибельным. Понимаете? Образ и подобие человека...

Монах резко остановился среди дороги, обернулся к Шатину. Шатин приподнял бровь. Кажется, что-то «зацепило» Ильина.

– Вы в Бога веруете? – вдруг спросил брат Артём.

Шатин напрягся. На некоторые вопросы, если ты всё же не глумлив и не циничен, отвечать трудно.

– Вы можете не верить Господу, Его бытие от этого не поколеблется, – твёрдо сказал монах.

Небо серело. Где-то собирался дождик. Шатин опять не стал спорить с монахом.

– Я не успел, – признал Ильин, – не успел, да и не смог по-человечески полюбить своё создание – образец, эксперимент. А Господь прежде творения любил нас, как отец детей. Я только измучил новую душу, электронного Адама. А Создатель и свободу нам подарил, и меру страданий, чтобы гордыней себя не погубили. Так разве мог мой опытный образец полюбить меня?

– Разве Творцу так нужна любовь твари? – тихо-тихо спросил Шатин.

Монах долго молчал – обиженно или расстроено, не ясно. Стал накрапывать дождичек – маленький, тоненький, как иголочки.

– Прежде всех веков, – выговорил монах медленно, – Господь родил Сына Своего. До сотворения. До всех времен.

– Христа Иисуса? – не понял Шатин. – От девы Марии?

– Воплотился от Пресвятой Богородицы Он уже во времени. А рождён прежде времён.

– От Самого Отца?

Капель дождя на лице Ильин, кажется, и не замечал.

– В Своем Сыне, который Единосущен Ему, Он Сам стал человеком, и пострадал, и, умерев, воскрес. Тот, Который есть Жизнь, Любовь и Добро, вступил в смерть, чтобы та утратила силу и человек приобщился к воскресению. Вы сможете подарить подобное вашему созданию?

Ладонью он вытер с лица капли. Дождик кончился, кажется, он весь прошёл стороной. Шатин не стал отвечать на вопросы монаха.

– Я же согрешил, создав живую душу, – попробовал объяснить монах. – Я позволил ему страдать, но лишил его отвлекающей суеты и усталости от забот, минут покоя и отдохновения. Я не дал Фёдору надежды на что-то вечное, незыблемое, чего никто у него не отнимет. Теперь я ставлю за упокой Фёдора свечи, и мне уже почти не делают замечаний.

Дождь ушёл в сторону. Серые струи тянулись из серой тучки где-то у горизонта. Выглянуло солнце.

– Смотрите, красота какая! – воскликнул монах.

На востоке широченной дугой стояла радуга. Высокая, сводчатая – вовсе не фрагментик, как часто случается. Надёжная толстая дуга, вставшая над полями и пригородами, радуга струилась всеми цветами. Казалось, она была осязаема и в сечении своём кругла и обхватиста.

– Я думал, такие только во сне бывают, – оценил Шатин.

– Добрый знак, Всеволод, благословение кому-то, – сказал монах. – Радуга в память первого Завета стоит. Новый Завет Бога с людьми Христом принесён, Ветхий был с Авраамом, а самый первый был с Адамом и Ноем. «Плодитесь и размножайтесь, ибо благословенна земля!» После очищения земли потопом Господь развернул радугу, благословил жизнь и клялся Собою, что не погубит её. Жизнь – священна, понимаете? Она – свята, не трогайте её скверными руками.

Радуга на востоке светилась минуты три, потом принялась светлеть, медленно таять и растворялась в небе.

– Вы мне помогли, – проговорил Шатин. – Спасибо.

– А вот в этом я как раз и сомневаюсь, – вздохнул Ильин. – Впрочем, дай-то Бог. Поезжайте с Богом. Бог знает, что делает...

Шатин скомкал прощание и не посмотрел Ильину в глаза. Уезжая, уже на трассе он в зеркало заднего вида поймал кресты на храмовых куполах.

«Почему они у меня ассоциируются с кладбищем? – подумалось. – Вроде бы, знак победы, упразднения смерти...» Вспомнилось, как на полуночнице пели монахи про Христа «Света от Света, Бога истинна от Бога истинна», «нашего ради спасения шедшего с небес... и вочеловечшегося». Впрочем, к чему это вспомнилось – не ясно.

К концу дня Шатин уже подъезжал к Красногорску. Мелькнула мысль не сворачивать на МКАД, к Зеленограду, а прямо сегодня съездить в Москву, побеседовать. Хотя нет: сегодня воскресенье, вряд ли кто работает.

В иные дни работали...

День. Лабораторный зал. Люминесцентный свет. Поставили свет хорошо: он выделял каждый штрих на пластиковой панели серверов и каждый сантиметр кабелей. Датчики, клеммы, электроды, прижатые к вискам и затылку Шатина, почти не давали тени. Шатин полулежал в кресле. Изредка с блоков аппаратуры отблескивали логотипы клиники Нейропсихологии.

«Свет от Света. Бог от Бога. Создатель вселенной, галактик и атомов стал человеком, чтобы подарить людям жизнь и показать, что дар этот – не обман и не игрушка. Ум от ума. Мысль от мысли. Мой образ и подобие заживёт высокоточной, гиперчастотной жизнью, и я, воплощённый в нём, привнесу в него что-то человеческое. Или стыд от стыда? Прах от праха? Или родится микросхемный организм, с терагерцовой частотой жующий человеческие комплексы, мелкие грешки, грошовой досады и обиды? Миллиарды лет тайной заносчивости, неудовлетворенности, придиричивости... Я человек, я не Бог, это Он – совершенен. Что? И такая жизнь свята? Ущербная, на процессорах. Но ведь освятил же Он жизнь, какова б ни была она».

– Модель! – голос Шатина был хрипл, резок, но почти не дрожал. – Твоё имя будет теперь... Всеволод.

– *Уточните: «имя» – метка диска-носителя или логин пользователя?*

У машины был теперь голос, холодный глубокий баритон. НИИ приобрело-таки дорогостоящий синтезатор речи.

– Дурак. Железяка, – вздохнул Шатин. – Что нового?

– *Новая версия материнской платы. Неактивированный алгоритм эмоций. Драйверы психосканеров на вводе информации.*

– Как это будет, Модель? Я окажусь в тебе? Или раздвоится сознание? Вот я ещё здесь, в себе самом, а вот я в датчиках и в сканирующих элементах, вот передаюсь по проводам, вот я в записывающем лазерном луче. Конечно, вмешаются шумы, помехи, будут потери от сопротивления сред. А всё-таки? В тебе окажусь я сам или только моя копия?

– *Файлы не перемещают с носителя на носитель. Их копируют. На исходном они могут быть сохранены, или заархивированы, или удалены для освобождения места.*

На стене за мониторами и модулями психосканеров грохотнул динамик. В зале наблюдений ожил и задышал в микрофон Лопухин. Шатин потной рукой огладил шершавый пластмассовый пульт на подлокотнике кресла с торчащим ключом – как в автомобильном стартере.

– Каково это, а – быть внутри микросхем и процессоров?

Динамик нервно всхрипнул и замолк. Баритоном не спеша ответила Модель:

– *«Каково это, а» – запрос некорректный. Напоминаю: большая часть человеческой нервной деятельности регулируется гормональным балансом, сексуальным настроением и физическими ощущениями. Всего этого вы будете лишены на электронном носителе.*

– Ты – фрейдист, Модель Всеволод. Ты просто фрейдист, – Шатин опять тронул ключ, он был влажен от пота.

– *Вы можете не верить Фрейду, основы психоанализа от того не изменятся.*

Шатин повернул ключ в первое положение. Таймер повёл обратный отсчёт от сотни до нуля. Второе положение включило самопроверку и подготовку аппаратуры. Нуль покажет исправность системы, и третий поворот ключа запустит сканирование.

– Один верующий человек, – выговорил, глядя на таймер, Шатин, – слово в слово сказал мне так о бытии Бога.

«Я так сделаю, – решил Шатин. Он прикрыл глаза, потому что не хотел видеть цифры. – Я посмотрю лишь на последней секунде. Если вон там, в уголке монитора, где часто бывает интерференция, я найду радугу, значит, и эта жизнь благословенна. Значит, я тоже смог полюбить своё создание. Если же нет... тогда я не вправе. Я остановлюсь», – пульт под рукой Шатина стал скользким. Стальной ключ намок и, кажется, пах окисленным железом. Сигналы обратного отсчёта стали громче, звонче, невыносимее.

В последний миг следует открыть глаза, чтобы увидеть свой жребий... и решить, как ему следовать.

Один в океане остров

Вот корабль мой терпит бедствие от испытания в волнах жизненных – и близок к потоплению...

(Из Акафиста в час печали)

I

Когда птица еще только учится летать, она совсем не рвется в небо. Наоборот, она бросается с высоты вниз, на землю. Человек – это единственное в мире существо, которое еще младенцем делая свой первый шаг, коротеньким рывком тянется с четверенек вверх, к небу. Не земля, а небо навек захватывает его своим притяжением. Птица всю жизнь перелетает с места на место, потому что не может разыскать то самое родное, но покинутое ей навсегда гнездо. Также и кит-касатка с высоким приливом бросается на берег, потому что смутно вспоминает: родина – там, на суше, где обитают все твари, питающие детей материнским молоком. Но если человек стоит и, не отрываясь, смотрит в щелочку горизонта, что между небом и океаном, значит... значит, и океан тянет человека не меньше, чем небо. Но тогда где же оно, подлинное отечество человека – наверху в небе или вдали в океане?

Об этом Клен так и не успел рассказать Учителю Горгу. Ни сегодня, потому как просто поосторожничал. Ни в последующие дни, потому как чересчур увлекся отчаянными планами.

Семья тигров была единственной в этой части острова. Их гнездовище с двумя крошками-тигрятами затаилось сразу за сломанным ясенем под корнями кривого вяза. С подветренной от тигров стороны хрустнула ветка, и взрослая самка насторожилась, а тигр-самец лениво встал. Самец был крупным зверем – холкой он, кажется, достал бы до бедра человеку. Клен вышел из-за дерева и, словно извиняясь, что потревожил, чуть-чуть развел руки. Тигр терпеливо ждал, не сводя оранжевых глаз с человека, кисточки на ушах подрагивали, продольные полоски от головы до хвоста не двигались, зверь не шевелился.

Клен отступил от логова, чтобы не волновать тигров. На острове их стало уже одиннадцать. Больше число хищников, наверное, не сможет прокормиться. Ведь на той стороне острова, где плоскогорье и сосны, живут еще и медведики. Учитель Горг говорит, что, когда людей было меньше, чем теперь, хищники расплодились по острову, и на всех не хватало косуль и зайцев. На тигров и медведиков раньше приходилось охотиться, а теперь их берегут. Без них стало бы бедно в мире.

С шорохом из-под ног порскнули зверьки, кажется, суслики, и затаились под рябинником. Это Клен вспугнул их. Галица перепорхнула с бузины на ольху и что-то недовольно крикнула. Клен вышел из урочища на берег, где по песку летал пух от тополей. Зеленая ящерица, увидев человека, закопалась в песок. Клен вдохнул горячий воздух и, шурясь от света, подошел к морю. Морская волна, пенясь, с шелестом лизнула босые ноги Клена. Он поежился.

Море было бескрайним. Оно было властно и самодостаточно. Оно играло, рябилось, меняло свой цвет от лазурного с прожелтью до мутно-зеленоватого. Учитель Горг рассказывал, что в океанской воде нет соли, но зато так много хлора, что в море в принципе не может быть жизни. Эта вода пресна и чуть горчит на вкус, но тем и хороша, потому что если бы была соленой, как в островной лагуне, то ее нельзя было бы пить даже прокипяченную.

Маленький краб пробежал по ногам Клена, коснулся лужицы воды и отпрянул. Клен из-под руки всматривался в горизонт, сегодня чистый и светлый, как будто прозрачный. По утру

в давно примеченном Кленом месте возникал мираж. Теперь же видны только привычные островные скопления. Гончие Рыбы, Рыболов, Большая Тюлениха... Жалко, что люди редко смотрят на острова.

Людей на всем Острове – сто восемьдесят четыре человека. Вот молодая жена Учителя Горга родит, станет сто восемьдесят пять. А детей и школьников – тридцать девять. Кстати, пятеро вчера выучились и считаются взрослыми, и Клен с Сойкой в их числе...

– Привет! – Сойка нарочно тихо-тихо подошла сзади. Клен вздрогнул и обернулся. Сойка смеялась: – Испугался? Не ожидал?

– Не ожидал, – он согласился. Эта Сойка такая большеглазая, такая большеротая. Она немножко смешная. А новые кораллы на шее очень идут ей. Красиво. Клен даже приревновал ее: – Кто это тебе подарил?

– Никто, – Сойка обиделась, но еще смеялась: – Мама.

Сойка думала, что Клен, наконец, скажет хоть что-то, но он промолчал. Только все смотрел на свой горизонт. Ветер с моря шевелил его светленький ежик, да еще торчали его скулы и своевольный подбородок.

– Я опять видел мираж, – сказал Клен. – Тот самый. Жду, может, повторится.

Сойка вздохнула, захотелось снять и выбросить незадачливые кораллы. Эти миражи видны по три раза на дню с разных концов Острова. Над скоплениями островов возникнут вдруг кусочки сверхдальних скал, помаячат и пропадут. Сойка искоса взглянула на Клена:

– Ты прямо влюблен в свои острова, – она упрекнула. – А земля интереснее...

– Они удивительны! – резко перебил Клен.

Сойка смолкла. Потом осторожно сказала, просто чтобы поддержать его:

– Я тоже люблю одно скопление. Ты его видел. Оно на той стороне Острова. Малая Нереида... – она перехватила взгляд Клена. – Она немного похожа на меня. Правда? – добавила.

Клен вспыхнул, но справился с собой. Все замечают, что самая высокая скала Малой Нереиды похожа на женскую грудь, и само скопление напоминает лежащую обнаженную деву. Клен смутился:

– Дурацкие острова, – отрезал он. – Там нет земли, один раскаленный камень. Горячий воздух над ним дрожит, свет преломляется – вот тебе и мираж.

– А говорят, – не унималась Сойка, – что это не мираж, это к Нереиде приходит тот, кто ее любит. – Сойка осеклась и переменяла тему: – А тебе какие нравятся?

– Белый Кит, – Клен был серьезен. – Вернее те, что за ним в мираже.

– Красивые, – протянула Сойка. Клен хмыкнул: скалы за Белым Китом были самые заурядные. – А кто там живет? – вдруг вырвалось у Сойки. – Какие там люди?

Клен с удивлением быстро глянул на нее и отвел глаза.

– Наверное, – фантазировала Сойка, – они добры, мудры и величественны. А может быть, слабы и просят нашей помощи, – Сойка стала вглядываться вдаль, на острова Гончих Рыб, ища там следы людей.

– Нет, это маленькие зеленые человечки с ручками и ножками, тоненькими как спички, – пошутил Клен.

– Нет, – спорила Сойка. – Там живут высокие смуглые великаны-атлеты.

– И один из них приходит к Нереиде, – не удержался Клен.

– Дурашка, – серьезно сказала Сойка. – Дурашка, и все тут. И никаких людей там нет. Люди живут здесь, Дома, на Острове.

Клен замолчал. Скулы еще резче очертились, светлый ежик волос стал какой-то неприветливый.

– Неправда, – Клен, сощурился, внимательно смотрел на Сойку. – Это неправда. Это Учитель Горг считает, что на островах нет жизни. А я не верю. Не верю и все.

Сойка моргнула, перебежала глазами со зрачка на зрачок Клена, засмеялась:

– Знаешь, Учитель Горг такой смешной стал, как только женился! Все на свете путает, суется. Меня сегодня уже два раза спрашивал: чем я хочу заниматься, когда вырасту? Такой смешной, ухочешься!

Клен усмехнулся, глядя, как она изображает учителя: – «Сама ты ухочешься», – хотел сказать.

– Он теперь дом строит, – заступился за учителя. – И жена скоро родит. Вот и забегался.

– Ухочешься, – повторила Сойка. Крупноглазая, большеротая, – кажется, все думают, что она Клену невеста... Нет, Клен к ней привязан, без Сойки ему было бы плохо и одиноко, но, наверное, он просто привык к ней. Хотя вот недавно, совсем случайно – просто так получилось – Клен видел ее, когда она купалась: в лагуне, совсем одна и совсем без ничего, нагишом. «Ты вправду похожа на Малую Нерейду», – хотел было так ей сказать – да постеснялся.

Острова Рыболова, Черепахи, Птиц-Сестер проступали где-то меж морем и небом крохотными клочками суши, точками скал и рифов. Пятнышки светлой воды выдавали отмели.

– А вон та земля двойная! – углядела зоркая Сойка. – А почему остальные острова – в скоплениях, а наш Остров – одиночка?

– Такая геология...

...Учителя Горга Клен встретил у поселка плотников. Тот выбегал из крайнего дома, с кем-то на бегу еще договаривался и раскланивался, торопясь к себе. Учитель, наверное, одалживался у плотников топорами. Железные топоры на Острове ценятся, и доверяют их не каждому. Больно уж железо здесь дорого. Ведь расточительно жечь деревья в топках печей и кузниц. Но Учителю никто не отказывает, его все уважают.

«Учитель Горг, правда, стал забавный без знаменитой черной бороды, – подметил Клен. – Он ее сбрил, чтобы выглядеть помоложе».

– Учитель Горг! – позвал Клен. – Добрый день!

С тополя вспорхнула и унеслась синица, в осиннике закричали сороки – мелкого полета птицы, и до ближайшего островка не долетят. Желтый попугай что-то сердито заверещал в папоротнике.

– Здравствуй, Клен, здравствуй, – Учитель Горг всегда привечал Клена и, кажется, за что-то ценил. – Решил уже, чем теперь займешься?

Клен сдержал улыбку: Сойка была права. Он нагнал Учителя Горга и пошел рядом. Вытянувшийся Клен был на голову выше Горга, но пока что поуже в плечах.

– Решил, – ответил Клен.

– Интересно, – Учитель Горг бросал слова машинально, мысли были заняты чем-то более важным.

– Вы так рассказывали нам о физике, о химии, – подольстился Клен.

– Да, да...

– Что я решил быть шлифовальщиком стекол.

– Да, да. Замечательно... Но почему? – Учитель Горг встал как вкопанный, лицо собралось, взгляд – чуть снизу вверх – сосредоточился на Клене.

– Клен, – разочарованно протянул Учитель Горг. – Но почему шлифовальщиком? Я же помню, как ты увлекался лагуной. Я думал тебе интересно. Пусть не рыбозаведение, пусть всякие плоты, байдарки. – Учитель Горг вспомнил что-то и усмехнулся: – Лет в десять ты поймал окуня, прикрутил ему к хвосту послание к иноостровитянам и пустил его во внешнее море. Бедная рыба! – Учитель Горг посмеялся.

– В десять лет я не знал, что в хлорированной воде всякая рыбадохнет.

– Я понимаю, – смеялся Учитель Горг.

– Я хочу отшлифовать стекло как для микроскопа. Но только так, чтобы смотреть не на маленькое, а вдаль. На острова, – признался Клен.

– Иноостровитян не бывает, – все еще улыбаясь, качнул головой Учитель Горг. – На островах, к сожалению, вообще нет жизни, сколько бы ты ни смотрел на них в увеличительные трубы. Философски говоря, – Учитель Горг поднял брови, – всякая иноземная жизнь давно должна была бы себя проявить. Вот, скажем, мы на нашем Острове. Мы шумим – по воде и по ветру нас слышно. По ночам мы жжем костры. Их далеко видно. Мы выбрасываем гнилые деревянные кадки, и иногда их уносит во внешнее море. Теоретически, их щепки могло прибить к любому острову. А у нас никто не находил иноземельных артефактов.

Клен просто слушал и кивал, ни о чем не проговариваясь.

– Клен, я грешным делом рассчитывал, что ты поучишься еще немного и станешь учителем вместо меня, – серьезно сказал Учитель Горг.

– Так вы же и сами еще не старый! – солгал от удивления Клен. В семнадцать лет все, кому под пятьдесят, кажутся древними. Учитель же Горг, кажется, остался польщен:

– Ну, Клен, ведь годы идут. Пока выучишься! – сказал он жизнерадостно. – Впрочем, для своего удовольствия, ты можешь даже шлифовать стекла.

– Учитель Горг, – Клен напрягся, не восприняв шутливый тон. – Возможно ли, чтобы внутри одного миража наблюдался бы второй мираж с видом еще более дальней местности?

– Что-что? – нахмурился учитель, морщинки побежали по его лбу. – Сдвоенный мираж? Говоря опять-таки теоретически, всякое возможно, – он пожал плечами, стал рассуждать задумчиво. – Если атмосферные и температурные условия так совпадут, что в момент проявления миража в отображенном – сверхдальнем – месте проявляется свой, второй, мираж, то, наверное, этот второй будет виден и в точке наблюдения. Но оба миража должны возникнуть одновременно – понимаешь, Клен? – до секунды одновременно, а все объекты должны лежать на одной прямой. А ты что-нибудь видел, Клен?

– Да, – решился Клен. Над лагуной громко крикнула чайка-рыболов. – Я видел сдвоенный мираж над скоплением Белого Кита. Раньше видел и еще сегодня утром. Над морем появились серые скалы – это как обычно, как всегда в этом месте, – а среди них и чуть повыше – вдруг новая скала, какой раньше не видел. Она помаячила и пропала чуть раньше остальных.

– Какая редкость, – живо улыбнулся Учитель Горг. – Потрясающе. Я никогда такого не видел. Подозревал, что это возможно, но сам не видел.

– Это еще не все, Учитель Горг. – Клен приберегал самое важное: – Над той скалой поднимался дым. Понимаете? Красный, сигнальный. Так было оба раза – и тогда, и сегодня.

– Любопытно! – Учитель Горг, кажется, оценил рассказанную диковинку.

– А из-под скалы, снизу, – заторопился Клен, пока учитель не перебил его, – бил сильный-сильный свет. Только не желтый и не оранжевый, как бывает от огня, а белый. Его словно то зажигали, то гасили через равные доли времени. А свет такой чистый и, я бы сказал, какой-то прозрачный.

– Прозрачный свет? Гм... – Учитель Горг чуть усмехнулся. – Каким же еще быть свету? То, что ты описываешь, Клен, было бы лучше назвать светом искусственным. Так более грамотно.

– Хорошо! – Клен поспешно закивал, ловя учителя на слове. – Пусть искусственный, правильно! Такое возможно, да? Вы так тоже считаете?

Учитель Горг с мгновение помолчал и перевел дух:

– Видишь ли... Все, что ты рассказываешь, весьма занимательно! Вот, посмотри сюда, Клен. Наш Остров, он, строго говоря, не остров, а атолл. То есть со дна гигантского моря, – Учитель, показывая, развел руки, – вздымается не гора с острой макушкой, а жерло вулкана, и это жерло, как чашечка, чуть приподнимается над поверхностью моря, оставляя внутри себя залитую водой лагуну...

Учитель Горг увлекался. Он словно принимался вести урок, а Клен, прощал его: с каких-то лет начинаешь испытывать к любимым учителям чувство ласкового снисхождения.

– Вот эта наша лагуна, – увлекался Учитель Горг, – хранит в себе воду, столь богатую природными минеральными солями и разнообразнейшими вулканическими веществами, что под действием жара вулкана вещества стали усложняться. Пошли химические реакции соединения и преобразования, возникла органическая материя, сформировался белок. В конечном счете, лагуна стала матерью всей биологически разнообразнейшей жизни Острова, и химия передала эстафету эволюции – кому? Биологии.

– Учитель Горг! – перебил Клен. – Так, может, за сверхдальними островами тоже есть атоллы с такими же или близкими условиями, – Клен не спрашивал, Клен утверждал.

– Может, может! – закивал Учитель Горг. – Я к этому и веду, – он проводил взглядом тяжелого шмеля и грустно улыбнулся: – Жалко только, что с нашими средствами не доплыть туда. Подумай: обойти наш атолл по берегу можно за несколько тысяч шагов. А путь до различных ближних и дальних земель – во много, много раз больше. А до сверхдальних, видимых лишь в миражах, еще столько и более. А до сверх-сверхдальних? Запас пищи испортится, океанскую воду опасно пить без кипячения, содержание хлора в воде и в воздухе станет больше. Да и все время вплавь, по морю...

Клен склонил на бок голову и, как бы невзначай, спросил под руку:

– Учитель Горг! А старый ваш дом вы разбираете? Старые бревна вам не нужны больше?

– А? – растерялся учитель.

– Оставьте их мне! Бревнышки-то. На здоровье, да? – настоял Клен, пока голова учителя другим занята.

...С того дня Клен сутками пропадал на Галичем взморье. Дома лишь изредка ночевал. Мать не возмущалась. Когда же Клен вдруг принес в дом железный топор и спрятал под лавку, мать день или два старалась не замечать этого, а после, вечером, был тяжелый разговор с отцом. Отец потребовал от Клена ответственности за свои поступки, но даже не спросил, откуда и для чего у Клена дорогая вещь, и правда ли, что он что-то сколачивает на внешнем берегу Острова. Отец только добавил под самый конец:

– Я – врач, Клен. У меня на Острове – сто восемьдесят четыре человека. Из них шестеро – грудные младенцы, пять стариков совсем плохи, а четверо жалуются на травмы. Я не в состоянии смотреть еще и за тобой.

– Еще посоветуй мне бросить глупости, – нагрубил Клен. – Скажи: мол, на острова люди не плавают, а кабы плавали, то имели чешую и хвост.

Отец неожиданно умолк и больше с Кленом не разговаривал. Клен, правда, не сумел вовремя остановиться и сгоряча добавил:

– У тебя больные! У тебя пациенты! Вот только у меня ничего нет. У тебя есть все – практика, уважение, у тебя – весь этот Остров. Да?! Вот пусть теперь у меня будет мой топор. Понятно? Мой топор, мой кусок Галичьего взморья и моя дорога.

Клен очень жалел потом об этой ссоре. Корил себя, но перед отцом не извинялся. Семнадцать лет – особый возраст. В семнадцать кажется, будто уже знаешь о жизни все. За уверенностью стоит отсутствие опыта, но в том-то и проблема, что опыт измеряется не годами и не приобретениями, а утратами. Количеством потерь.

«Что же – больше всех знает о мире тот, кто больше всех потерял?» – не поверил сам себе Клен.

Тот драгоценный топор Клену переодолжил Учитель Горг. Клен взялся обтесывать бревна, чтобы прилегали друг к другу ровнее и слаженнее, да еще принялся выдалбливать в каждом пазы, чтобы соединить ряд бревен прочными поперечинами.

Согнувшись и немного, как положено, чертыхаясь, Клен таскал и переволакивал по гальке бревна, а после, упершись коленом, вязал их пенькой. Зеленоватое море шумело, брызгалось и, шипя, ложилось на гальку. В океане, на горизонте, соблазнительно раскинулась

Малая Нереида. Ветер с моря трепал обрывки пеньки и разносил по берегу вытесанные из пазов стружки.

Пару дней назад на лагуне, где шевелятся всем своим существом медузы, Клен видел, как играли в лодочки пацанята. Игрушки из щепок плавали кое-как вдоль бережка, а одна, с воткнутым в расщелину дубовым листом, заплывла, подхваченная ветром, так далеко-далеко, что словно парила над водой.

«Так бы вот и мне сделать», – маялся Клен уже третий день.

Он уже выбрал сосну – молодую, но крепкую, прямую и не слишком обхватистую. Примерился, куда ей упасть, чтобы легко волочить к берегу. Вспугнул семейку ежей, прогнал дятла и, размахнувшись, взялся рубить. Скрипя и ухая, повалилась сосна, с шорохом взлетели щеглы, понесся куда-то заяц. Клен крикнул и принялся обрубить сучья.

Когда на шум и стук собрался народ, Клен уже сделал полдела. Сбежались лесники, сошлись все, кто был поблизости.

– Ты... – у молодого лесничего сперва даже язык отнялся. – Чего натворил-то? Сосну порубил – ополоумел? Сто лет еще бы росла. Внукам с их детьми дом построить... А хвоя? А шишки? А смола? – лесник долго еще перечислял утраченное.

Клен мрачно сопел и отсекал сучья. Никто не пытался отобрать топор и увести его самого. Лесничий лишь ахал, остальные качали головами.

Вот после этого к Клену на Галичье взморье и пришел дядя Лемм. Дядя Лемм, суровый лекарь-травник, вырос в лесу и знал каждое дерево. Он был братом его матери. Клен сразу понял: мать прислала его для серьезного разговора. Клен и без того знал, что сосен такого сорта росло в том лесу от силы штук двадцать, да на возвышенности с другой стороны Острова, кажется, еще не более полста...

Дядя Лемм сел на отбракованное бревнышко, молча достал махорку, закурил, пуская дым вдоль моря. Клен только сопел и возился с плотом, затылком чуя дядькино настроение. Дядя Лемм докурил, отбросил сигарку, помолчал, мучая, еще.

– Ну, что, племяш, вконец обалделый? – голос у дяди Лемма хриплый – это от махорки. – Зачем сосну сгубил? Поясни.

– Мачту на плот... – просопел Клен немногословно. – Еще парус будет, – топором он долбил гнездо для мачты.

– Ты одурелый, племяш? – бросил дядя Лемм. – На острова плыть. В этакую даль... С пути собьешься и с голоду помрешь. Сам убьешься, может, кому и плевать, а мать пожалей.

– Дядь Лемм, – Клен выгреб из гнезда щепки и отложил топор. – Ты из-за дерева злишься? Вот слушай. В лесу каждое дерево считано. А вообрази, сколько их растет, может быть, на других островах. Хоть мосты строй, хоть на дрова их жги.

– Ба-алда ты, – протянул дядя Лемм. – Доплыть туда – на плоты и лодки больше лесу истребишь.

– Ладно, дядя Лемм, ладно, – перебил Клен. – Пусть не деревья, пусть медь. Или железо. Россыпью, навалом – ты же не знаешь, что есть на островах.

Дядя Лемм пожал плечами, долго думал, глядя себе под ноги, что-то решал.

– Затратно, – сказал он нехотя. – Это только кажется, что народу на свете полно. Сто восемьдесят четыре человека! Все, выходит, бросай? Зверей не стеречь, хлеба не сеять, детей не рожать. Только лес вали и твои плоты связывай? Так на иноземельное железо и весь свой лес изведешь – как жить-то после...

– Может быть там, – тихо-тихо выговорил Клен, – может быть там, на островах-то, и жить можно станет.

Дядя Лемм вдруг покраснел скулами, приоткрыл рот да как вскочит с места:

– Ах, так это ты Сойке, Кнушевой дочке, в уши напел, что скоро все на Малой Нереиде жить будете! – взъярился травник. – Там нету жизни, там камень, пустыня и почв нету.

Понятно? Почвы тоже на плотках возить будешь? Вози! А воздух в пузырях повезешь? Там хлор, слышишь ты, хлор парами, туманами стоит. Ай, да чтоб тебя!

Дядя Лемм с досады рубанул рукой, повернулся, зашагал куда-то. Потом вдруг, сообразив, пошагал назад, на ходу крича Клену:

– Увидишь зеленый туман над морем – гребни прочь. Пузырь надорви, а гребни! А не сможешь, так в мокрую тряпку дыши – мочись на нее и дыши. Хоть жив вернешься!

Крикнул так и прочь убрался. Горячий он, дядя Лемм, суровый. Говорят, в молодости его в лесу звери рвали, и не просто звери, а стая койотов. Он выжил. Жилистый он, живучий, дядя Лемм-то.

... Острова маячили на горизонте штрихами и темными точками. Клен перечислял видимые ему скопления: – «Вон Старый Морж. За ним Пловец. А дальше Большая Нереида и Зимородок», – Зимородка Клен не любил. Над этим скоплением изредка проступал мираж, и сверхдальние белые острова в нем внезапно, на глазах наблюдающего, тускло зеленели.

«Это от хлороводорода», – проговорился когда-то давно, сжимая зубы, дядя Лемм. Тайна исчезла, осталось странное, словно после обмана, чувство. Клен упирался ногами в гальку. В одиночку, жились и надуваясь, подымал сосновую мачту, чтобы вогнать ее конец в гнездо посреди плота. Наконец, мачта вошла, содрогнулась и замерла, встав, как следует. Клен, удерживая ее, принялся вбивать клинья. Мачта укрепились.

– Так вот куда ты дерево дел, – по берегу от поселка шла компания парней и девушек. Позади всех держалась Сойка, теребя букетик из незабудок.

– Здорóво, – буркнул Клен. Парни окружили его, качая головами. Двое, напрягшись, приподняли плот, чтобы поглядеть днище.

– Крепкий, – заверили оба. – Не сразу потонет, ты еще помучаешься.

– Дурак ты! – испугалась Сойка. – Дурак, что мелешь?

Рюг, Кленов приятель, подошел к Клену, встал, чуть заслоняя его, проговорил быстро и еле слышно:

– Плотники уже нервничают. Им твой топор нужен. Я могу сказать, что он пока у меня. Но только на два дня.

Клен быстро кивнул, пары дней ему достаточно. А вот Рюг, он – молодец, он же рыбак и лодочник, он в жизни не осудит того, кто плот строит.

– Загорелось тебе что ли? – Рюг, словно нарочно, опроверг похвалы. – Иноостровитяне письмо прислали?

Девчонки захихикали. Клен нахмурился, потом с вызовом распрямился:

– Прислали! – он парировал. – Иноостровитяне! У них – большие города и морские лодки. Они умеют братья за новое и не шатаются без дела, хохоча людям под руку.

Рюг только пожал плечами и отошел.

– Рули поставь, – он пальцем показал на корму плота. – Без рулей нельзя, замучаешься. Еще медные уключины надо, чтобы у тебя весла не унесло.

Клен промолчал: Рюг-рыболов говорил дело. Сойка переводила глаза с одного на другого, переживая, почему Клена не отговаривают.

– Эй, – не выдержал Рюг. – А ты, правда, видал чего-то?

– Видал, – кивнул Клен. – Сверхдальний мираж за Белым Китом. Они звали на помощь. Потому что, если бы могли, давно приплыли бы сами.

Парни присвистнули. Рюг не поверил и только с обидой поморщился. Разбредались все тихо, стараясь не задевать Клена и не смотреть на Сойку. Сойка осталась одна.

– Кле-он, – протянула. – Это правда? Ты что-то видел, а мне не говорил? Кле-он...

– Видел, – назло себе и Сойке подтвердил Клен. – Там города с куполами, высокие дома и привольные улицы. А дороги вымощены кирпичом. Желтым, – придумал Клен. – У иноостровитян голубая кожа, а правит ими суровый правитель, и есть у него красавица-дочь, –

Клен уже не мог остановиться, а Сойка кусала губы и терпела. – Дочь правителя видела меня в мираже, влюбилась и зовет теперь: «Где ты, где ты, где ты, Сын Моря?»

– Дурак! – не выдержала Сойка. – Плыви к своей синекожей королеве.

Брызнули слезы. Она стремительно отвернулась и побежала к лесу.

– Сойка! – опомнился Клен. – Сойка! Сойка! – он побежал за ней, догнал, удержал. –

Союшка, ну прости меня, птичка. Я – дурак, правильно. Ну, не плачь.

– Кленчик, – всхлинула Сойка. – Не уплывай, а? Ты ж не вернешься.

– Как не вернусь, глупая? – Клен утешал ее. – Быстро даже вернусь. Подарков тебе наберу и вернусь. Что ты больше всего хочешь?

– Дурашка, ой ты дурашка...

Большая синяя стрекоза вылетела из леса и облетела их. Заяц высунулся было из кустов и сгинул. Ветер потянул с океана – наверное, прилетел с островов...

– Сой-ка, – позвал Клен задумчиво.

– М-м?

– Твоя мама, ведь лен прядет, правда? Ты не могла бы взять у нее полотна? Мне немного. Сажень... Нет, лучше две сажени на три.

Слезы у Сойки мигом высохли, крупные смешные глаза округлились еще больше.

– Та-ак мно-ого? Ты что, Клен?

– Да разве это много, – заторопился Клен. – Всего ж на пару рубашек... Ну, может, на три. Мне для паруса. Чтобы побыстрее плыть. Я... я, наверное, через день поплыву. Вот только рули, как Рюг говорил, прилажу и поплыву. Ты моим... моим потом все расскажешь. Ладно? Я с отцом поругался, нахамил ему. Жалко. Он ведь добрый.

Сойка прижала к груди кулачки, вся сжалась, маленькая, тоненькая:

– Твой папа убьет меня, раз я все знала. А мой папка еще и спасибо ему скажет...

Смешная она, Сойка, забавная. А все ж таких мало – на всем Острове одна... Через день Сойка принесла ему льняного полотна. Клен успел уже приладить руль и стащить плот на воду. Он радовался будущему парусу, но в этот день так и не отплыл с Острова, потому что прибежали рыбаки-мальчишки и, перебивая друг друга, завопили, что из лагуны выбросился на сушу кит-касатка.

Животное с серебристой кожей лежало на отмели и сохло, приоткрывая и закрывая дыхательное отверстие. Раздвоенный хвостовой плавник бился о песок, будто касатка силилась ползти еще дальше, куда-то вглубь суши. Рыбаки кричали, размахивали руками, кто-то рыл для кита канал, кто-то взялся ворочать его с боку на бок, кантовать на расстеленную рогожу, чтобы волоком стащить животное назад, в воду. Животное было огромным – длиной в целый рост взрослого мужчины, а массой превосходило, наверное, сразу трех человек. Клен не опоздал. Он успел поддержать свой край рогожи, чтобы голова касатки не волочилась по земле. Кто-то пихнул его под руку.

От толчка голова кита мотнулась, и кит вдруг открыл один глаз. Клен нечаянно перехватил взгляд животного. Тоска, сломленная мечта, отчаяние, что так и не дотянулся до цели, боль, что так и не увидел... Чего? Брошенного дома? Покинутой родины? Отчего-то эти мысли увиделись Клену во взгляде кита, когда он чуть не выронил свой край рогожи.

«Учитель Горг, мудрый Учитель Горг... Ты же говорил, будто киты – родичи морских котиков. А котики рождаются на суше. Что же? Наследственная память гонит китов на отмели и песчаные пляжи. Шесть недель назад так уже погибла одна касатка... Этот кит ищет свою подругу, свое заповедное лежбище. А это родина, подлинный дом, непреложное отечество?»

Если киты в тоске ищут свою родину, то что же гонит в океан меня? Поиск отечества, иной земли, обещанного дома. А, что теперь скажете, Учитель Горг?»

Весь тот день взгляд спасаемого кита стоял перед глазами. Клен не выдержал. Он унесся на внешний берег Острова, откуда видно скопление Белого Кита, и бросился в океан. Много

часов он, обезумев, бился и с волнами, и с ветром, топил себя и всплывал, порывисто хватая ртом воздух, пока не начнет кружиться голова. Наконец, он замерз, холодная вода стала сводить тело, он, кажется, потерял сознание, потому что очнулся он, когда океан уже вытолкнул его на Остров.

Вывернув руки, он лежал лицом на песке и слушал, как песок шуршит под чьими-то спешащими ногами. Сойка таким и нашла его – измученным, полуживым и полуголым. Сойка, тормоза его, заплакала – видно, от жалости, назвала, как всегда дурашкой и вдруг сказала, что любит его. Клен был счастлив. Силы с каждой минутой возвращались.

Маленький песчаный краб быстро пробежал по его рукам.

– Ты теперь никуда не поплывешь на своем плоту, правда же? – понадеялась Сойка.

– Наоборот, поплыву, – пообещал Клен. – Завтра же.

Клен не посмотрел, как расстроилась Сойка. Это был его путь, самое начало его и только его дороги. Утром он скажет это отцу, а отец поймет и простит его, он так и скажет ему: «Плыви! Ищи непреложное отечество! Только непременно найди...»

II

Бездонное море во многом так похоже на небо, что часто трудно отличить одно от другого. Море отражает в себе синеву неба, море отражает движение облаков, а порой и подгоняет их в себе своими же волнами. Оно отражает и тучи, которые само же испарило из своих вод, чтобы заслониться ими от высокого неба. В одном они отличаются – море и небо. Небо отдает свою красоту отражению. А море не берегает отраженную красоту, не замутнив и не исказив ее.

Теперь мало кто знает, в ком из них – в небе или в море – искать то самое непреложное отечество. Как больно будет принять неверный блеск за драгоценную мечту, а пар и дым – за единственную цель. Плот рвется в море, где волны будут хлестать его. Плоть бросается в пучину навстречу топящим ее житейским волнам. Но если что-то зовет человека взять из отцовского дома свою долю счастья и уйти с ней далеко-далеко, значит... значит и в дороге есть своя ценность. Велика ли она?

Все это Клен так и не сказал своей Сойке ни в этот день, ни в следующий. Привязанный плот покачивался на воде и звал в дорогу.

К удивлению и потрясению Клена отец не поддержал его в поисках подлинного отечества. Он долго и внимательно смотрел на Клена, а потом сказал всего одно слово:

– Одумайся...

Но сразу вдруг замахал руками, будто сам себя останавливал, сам себя перебивал, и только после этого договорил:

– Ведь ты был прав в нашем споре, Клен. Ну, да! У меня действительно есть этот Остров, мои пациенты и уважающие меня люди. А кроме них у меня есть ты, Клен. Но, видишь ли, получается, что все перечисленное есть и у тебя. Ведь ты же знаешь: все, что мое, оно – и твое. Разве не так? Разве тебе надо искать чего-то чужого, когда всё есть у тебя самого?

В ответ отец Клена увидел только упрямый подбородок да острые скулы так внезапно подростшего сына.

«Тогда лучше в чужой стороне найти понимание, если у отца его нет и в помине», – в досаде решил Клен. По счастью, он не сказал этих слов отцу прямо в глаза.

...Его плот недовольно качался на приливе. Волны подхватывали плот, канаты натягивались и скрипели, привязанные к вбитым на берегу кольям. Клен, подвернув края льняного

полотнища, приколотил его к реям как парус. С порывом ветра прибитое полотно надулось и хлопнуло о мачту. Плот повлекло, потащило прочь в океан.

– Ух, ты! – выкрикнул сам себе Клен и топором перебил канаты. Плот дернулся, освобожденный, Клен разбежался, запрыгнул. Плот покачнулся. Берег вдруг застремился прочь, океан сделался как-то шире, реальнее. Клен охнул, одолевая дрожь между лопатками.

Ветер стих. Парус обмяк, и Клен лопастью весла оттолкнулся от дна, гоня плот вдоль земли. Следовало обойти ее всю, а на полувитке, на той стороне, одолеть прибой и уйти от земли вдаль. Берег заметно менялся. Галичий край скрылся, мимо проплывал перелесок, за ним пригорок с домами лесоводов. Быстро росла Возвышенность, покрытая сосновым бором, где водятся медведики. Из-за Возвышенности явились в море скопления Гончих Рыб, Рыболова и Белого Кита. Вот только на берегу, на краю земли, кто-то привлек внимание. Клен резко обернулся.

У самой воды, зачем-то опираясь на палку, стоял Учитель Горг. Клену показалось, что учитель за эти дни постарел. Наверное, подумалось, он бросил бриться, и щетина опять составила лицо... Учитель что-то прошевелил губами. Клен не расслышал и, помогая себе веслом, приблизился к суше.

– Все-таки уплываешь? – повторил Учитель Горг и, не дожидаясь, когда подтвердят очевидное, сказал еще: – Ты вчера как безумный бросался в море. Сойка говорит, что нашла тебя здесь измученного и полуживого, как будто ты уже переплыл пол-океана.

– Она сильно преувеличивает, – Клен горделиво приподнял голову. – Просто мы вчера спасали кита.

– Правильно, – перебил учитель и еще сильнее оперся на палку. – Это моя вина.

– Вина? – плот нетерпеливо качнулся, Клен веслом придержал его. – Какая же это вина, Учитель Горг?

– Лемм не сказал тебе? – Горг напряг голос, и слова прозвучали резко: – Тридцать лет назад... Твой дядька Лемм сам, один, на какой-то байдаре плавал к Зеленеющим островам. Это он-то и узнал, что они зеленеют от хлора. Он едва не отравился! А как вернулся, так стал нелюдим и ушел в лес. Будто его обманули. Он потерял мечту, а кто больше всех теряет, тот больше всех знает о мире. – (Клен нахмурился, но промолчал). – А я теперь наперекор всему думаю, что ты-то окажешься посильнее его...

– Ну да, я же плыву не к сверхдальним, а к сверх-сверхдальним, – растерялся и зачем-то напомнил Клен.

– ...посильнее его и поймешь что-то свое, то главное, чему я не смог научить тебя. Плыви же! После и меня научишь. Плыви, а то народ сбежится и меня же, старого глупца, обвинит, что мальчишку в море пустил. Мне туда в жизни не доплыть и не понять того, что ты там поймешь!

Он вдруг замахал руками, выкинул палку и побежал прочь от моря. Клен никогда его таким не видел. Клен нахмурился, собрал лицо: очертились острые скулы и упрямый подбородок, который Сойка звала своевольным. Он медленно перебрал руками шест весла, словно раздумывал, а не остаться ли, не узнать ли, что это такое с учителем, но, не додумав, уперся веслом в илистое дно и оттолкнулся. Плот подхватила волна.

Впереди, над Белым Китом, над грядой островов, похожих на спину животного с острым плавником, слезою заколебался воздух и сгустился в цепь серых скал. Эти скалы, такие чужие, далекие, висели прямо над водой. Между ними и океаном, как синяя нить, виднелась часть неба. Мираж был так веществен, что казалось, доплыви до Белого Кита, и сверхдальние окажутся там же, совсем рядом. Плот резко качнуло, ветер встрепал Клену рубашку и с хлопком надул парус. Почудилось, что мачту вот-вот выдернет из гнезда и унесет. Клен ахнул, схватился за нее, но мачта стояла крепко, и плот полетел, чиркая носом по гребешкам волн. От качки слегка замутило. Клен испугался, он не думал, что на воде будет так зыбко. Мираж впереди

вдруг поплыл маревом, затуманился и сгинул, парус хлобыстнул Клена по лицу, Клен охнул и порывисто обернулся, ища родной Остров.

Атолл уплывал. Атолл словно отделился от Клена пространством моря и уходил все дальше и дальше. Родной Остров был крив и скошен, часть его поросла буро-зеленым лесом, и над Возвышенностью дрожала дымка, испаренная листвой деревьев. Клен огляделся вокруг, стискивая зубы. Серо-желтые с прозеленью волны окружили его и беззвучно шевелились, раскачивая плот. Одному стало жутко. Море пахло собой. Не солью, не прелостью от водорослей как вода в лагуне, оно пахло неестественно чистой влагой и немножко хлором.

– Здесь ни души, – через силу разлепил губы Клен. Море промолчало. – Ни единственной, – повторил он. С неба припекал жар, но у Клена морозец пробежал по спине где-то под кожей. Море всплеснуло, Клен вздрогнул.

Вода, откуда-то набежав, скатывалась с бревен. Плот двигался ровно, прямо по линии, стремясь чуть вправо от скалы Хвост Белого Кита. Клен нырнул под парус и проскочил с кормы на нос.

Когда стало смеркаться, Клен развел огонь в очаге на носу плота. Потом зачерпнул забортную воду и вскипятил ее, поздравляя себя с началом пути. Он разрешил себе угоститься хлебом и соленой рыбой из своих припасов. Пока он так праздновал, что-то неуловимо изменилось в море. До поры он и представить не мог, что в океане могут быть потоки и течения, вроде речек без берегов. Уже в полумраке он разглядел, что плот развернуло по диагонали и несет куда-то в сторону, мимо Белого Кита.

Огонь в очаге всколыхнулся, когда Клен вскочил и кинулся на корму, спотыкаясь и оскальзываясь на мокрых бревнах. Плот, подчиняясь рулю, нехотя повернулся. Быстро темнело. Клен торопился найти Хвост Кита и выровнять по нему курс до того, как упадет ночь. Наступившая тьма скрыла все, кроме краснеющих в очаге углей. Ощупью прополз Клен с кормы, волоча связку припасенных дров. Глянцево-черное невыносимое небо давило сверху, а море бархатисто шелестело о плот во мраке. Когда огонь вспыхнул, Клен увидел только освещенный надутый парус, собственный плот и клочок моря вокруг. Искры с треском сыпались в море, сполохи метались на высоту человеческого роста, а Клен еще силился разглядеть вдали хоть какие-то острова-ориентиры. Дома Клен рассчитывал, что сможет вот так осветить себе дорогу.

Сжав зубы и выставив вперед своевольный свой подбородок, Клен признал поражение. Пламя выхватывало лишь кусок моря на десяток шагов впереди. Он опустился на плот, прижался спиной к мачте.

«А из сосны выступила смола, – подумалось невпопад. – Учитель Горг, что же – это и есть моя первая потеря на далеком пути? Если так, то не слишком-то она меня испугала!»

– Мы построим много плотов, – сказал он вслух молчащей глянцевой тьме. – Нет, мы построим один пребольшой плот, и на нем будем только мы с Сойкой. Нет! На нем будет много людей. А плот будет огромный – размером с поселок. На нем мы насыплем землю и посадим пшеницу и овощи. Мы будем плыть долгие годы. Мы будем жить на плоту, любить, и у нас родятся дети. Они поплывут после нас и обойдут все острова Вселенной. Найдутся обитаемые или пригодные для жизни миры. Мы возведем на них маяки из кирпича и камня. Они станут светить в ночи и показывать плотам, куда плыть, чтобы найти людей.

...Клен проснулся, когда горизонт едва посветлел и поголубел. Он не сразу сориентировался: плот так далеко уплыл за ночь, что изменились очертания скоплений. Знакомые острова, едва приблизившись, разбежались. Некоторые заслонили друг друга или повернулись под другим углом. По приметной форме Клен отыскал Хвост Кита и скорректировал по нему курс. Потом оглянулся, ища глазами родной Остров. Атолл стал уже крохотной точкой и почти слился с Малой Нереидой, еле видимой отсюда.

Так повторялось теперь каждое утро. Клен отыскивал и узнавал Хвост Кита, единственную приметную скалу среди множества переменившихся, расползшихся и убежавших скоплений, выравнивал по ней курс, всматривался в горизонт. Родная земля давно пропала из виду.

Все изменилось, когда Клен почувствовал, что ветер сильнее обычного рвет на нем рубаху и треплет волосы. Парус с треском надулся, накренил мачту, и та быстрее прежнего повлекла плот. Плот принялся чаще черпать воду. По краям его побежали пенные барашки. Покрепчавший ветер резко отклонил плот от курса. Клен потянул рычаг руля. Потом налег сильнее. Сдвинул еще и еще. Руль был смещен уже до предела, а плот несло куда-то в пустой горизонт мимо скалы Хвост Кита.

Ветер дул сбоку, разворачивая плот с намертво прибитым парусом. Парус хлопал, надуваясь и обвисая. Волны, высоко поднимаясь, опадали на плот, а Клен силился грести веслом с одного борта, чтобы плот шел поперек ветра. Он греб не отдыхая. Волны взвивались, казалось, на высоту лесных деревьев, и плот скатывался с их спин, непрерывно прогоняя воду по своей поверхности. Брызги пригоршнями летели в лицо, от них уже насквозь промок весь парус.

Одна волна поднялась особенно крупно, обрушилась на дальний край плота, пронеслась по нему и окатила Клена. На миг перехватило дыхание. Почудилось, что плот насовсем скрылся под водой. Не выпуская весла, Клен с отчаянием проводил взглядом часть дров и припасов, кружащихся теперь далеко в море. Новый крупный водяной вал, перекатываясь, надвигался на плот. Всего на один миг Клен выпустил из рук весло – он кинулся спасать припасы, отгребая их и остатки дров от края. Обрушившись, волна закружила весло, подхватила и унесла с собой. В ту же минуту с бревен соскользнул драгоценный железный топор, что был так нужен на случай починки плота. Инструмент камнем унесся ко дну, и это стало подлинной первой потерей Клена.

– Стой! – выкрикнул морской волне Клен. – Верни!

Выбросив руки, он прыгнул за веслом в море. Вода обожгла холодом, с головой погрузила в безжизненное ничто. Ощутился вкус хлора. Отплеываясь, Клен поплыл к пропадающему веслу короткими взмахами, нагнал, схватил его и, ныряя, развернулся в воде. Плот был уже далеко. Забавляясь, море разнесло их. Гоня прочь панику, Клен, сжимая весло, поплыл к плоту. Медленно и нехотя плот стал приближаться. Клен догнал его и закинул весло. А потом долго, держа за края бревен, отдыхал, прежде чем взобраться.

...Вода успела попортить солонину, хлеб и дрова. Разжечь огонь было теперь нечем. Немного скалясь от пережитого напряжения, Клен сидел на поджатых ногах и испытующе угрюмо глядел на скопление островов Белого Кита. Острова приближались. Утомившийся ветер вел плот прямо на них. В скоплении появились новые, не столь крупные, невидимые с родной земли детали.

– Я же говорил, – упрямо повторил Клен, – что доплыву и увижу людей, живущих на островах в чужом мире, – не отрывая от Белого Кита глаз, он зачерпнул хлорированную забортную воду и упрямо выпил полную пригоршню.

Через пару дней в полуверсте слева от плота проплыл первый из островов скопления. Мелкий, каменистый и серый, он не интересовал Клена. Клен, щурясь, смотрел на возвышающуюся впереди гору, что на земле прозвали Спинным Плавником Кита. Гора точно наплывала, росла на глазах, увеличивалась, ужасая размерами. Глыба раскаленного камня слепила белизной и ощутимо обдавала волнами жара, отраженными от неба. Казалось, что возрастает она гораздо быстрее, чем приближается к ней плот, что вот-вот она заступит своей массой дорогу, и хрупкий плот в нее врежется. Клен совладал с ознобом и отогнал иллюзию. Жаркая гора проплыла мимо.

Самые броские, самые заметные острова оказались вблизи крохотными и заурядными клочками скал. Наоборот, самые, как это виделось с родной земли, мелкие островки были

крупными, но очень далекими. На многие версты вперед была заброшена скала Хвост Кита. Теперь она придвигалась. На ее голом буром камне уже различались какие-то бугры, трещины, уступы, щербины. Безжизнен и пуст стоял Хвост Кита, лишь бурая галька с песком покрывали его, да нестерпимый жар – густой горячий воздух, гонимый ветром, – исходил от него.

– Кому вы нужны? – досадуя, корил их Клен. – Кому? Ни листика на вас, ни рачка, ни рыбешки.

Течение тянуло плот вдоль скал. Хвост Кита проходил далеко справа. Океан был глубок и прозрачен. Океан был подозрительно тих. Про черную дыру Клен понял, лишь когда разглядел на океанской плоскости концентрические, сходящиеся в спираль потоки. В середине циклона возникала крутящаяся черная впадина вроде воронки.

Давясь холодком где-то в глубине солнечного сплетения, Клен грудью бросился на рычаг руля и потянул его в сторону. Руль не поддался. Он еле сдвинулся с места, проскрипел и уперся. Кажется, древесина успела разбухнуть в воде. Клен налег сильнее, что-то под днищем хрустнуло. Руль сдвинулся, но больше не подчинялся. Клен вскинул голову – течение несло плот к водовороту.

Клен проскочил под парусом, упал на колено у края плота и, не оглядываясь, бросился грести прочь от циклона. Плот опасно накренился и черпнул воду, Клен поскользнулся и упал животом на бревна, сжимая весло обеими руками. Плот повлекло боком – черная дыра поймала его. Надутый парус хлопал, ловя ветер. В какой-то миг плот замер, когда силы потока и ветра уравнились. Водоворот притягивал плот к себе, а ветер тащил парус и мачту. Плот готов был опрокинуться, но что-то задержало его на несколько мгновений. Клен отчаянно греб, помогая веслу руками, плечами, всем телом. Плот вырвался. Ветер подхватил его и понес прочь от черной дыры. Клен смог обессилено вытянуться на бревнах.

Хвост Кита, гигантский остров и средоточие масс островного скопления, наконец, выпустил Клена. Клен одолел его притяжение. Отлежавшись, он приподнял голову, ища новую единственную точку, цель пути. Горизонт был пуст... Впереди, от левого его края до правого не было ни островка, ни скопления, ни точки, за которую мог бы схватиться глаз. Клен медленно выдохнул, садясь на бревнах.

Океан оказался пуст и бесконечен. Темная вода лежала в пустом пространстве и чуть заметно подрагивала. Клен даже взялся за виски кончиками пальцев – так в них что-то застучало и зашумело.

– Спокойно, – проговорил он себе. – Впереди есть другие скопления и атоллы. Мир не пуст. Здесь не край Вселенной. Наверное, скопления всегда стоят областями. Или кругами, спиральями. Я видел свет, идущий от них и преломленный как мираж. Я должен двигаться прямо и прямо, не сворачивая. Несколько суток я буду ориентировать курс так, чтобы Хвост Кита держался у меня за кормой.

...Испорченные припасы заканчивались. Он принял строгий режим экономии и съедал в сутки не более одной малой порции. Со временем стало казаться, что плот набух и отяжелел. Он глубоко проседал в воде, и думалось, что скоро придется стоять на нем по шиколотку в океане.

Через несколько дней темными и светлыми точками выступили из горизонта скопления. Скученные, разбросанные, приметные, бесформенные, черные, белесые скалы, рифы и отмели. Их расположения и взаимные сочетания были чужды, новы и ничем не походили на те, что всегда видели люди. Он пел и плясал. Он орал и прыгал, раскачивая плот. Он обнимался с мачтой и стоял на голове. Они все-таки были, они существовали, новые острова сверхдальней вселенной.

Из-за горизонта, из-за новоявленных земель выползли густые грозовые тучи. Сверкнула молния и, спустя два долгих вдоха, долетел раскатистый звук грома.

Встречный ветер словно навалился откуда-то сверху. У Клена только дух захватило, когда пыль и брызги ударили ему в лицо. Небо почернело – не глянцево-чернотой, как ночью, но густо-серой и рокошущей. Волны вспенились, словно грозя пришельцу, вздыбились выше мачты. Плот заметался, опрокидываясь то на борта, то на нос. Клен вцепился в мачту и в бревна. Его окатило волной, шторм пролился дождем и грозой. Ураган затерзал парус, плот разворачивало то так, то эдак. Льянное полотно мокрой тряпкой хлобыстало по мачте и по лицу Клена, а Клен, вцепившись в мачту, вдруг понял, что парус-помощник предал его и сделался главным врагом и помехой.

Сжав зубы, мокрый и оглушенный ветром Клен изо всей силы потянул за полотно, сдирая его с реи. Мокрые клочья взвились на ветру, парус стеганул, полуоторвался и развернулся флагом над мачтой. Клен потянулся, подцепил было ткань, но на ветру выпустил. Длины рук не хватило на всю верхнюю рею.

Обхватив мачту ногами, Клен полез на нее как на дерево. Волна налетела, накрыла собой плот, смыла все, что на нем было – и весло, и последние припасы, и глиняный очаг. Расширенными глазами проводил Клен сокровище. Ветер накренил плот – рукой Клен мог бы коснуться воды. Сжимая зубы и плача от ярости, Клен отдирает парус.

Полотно разодралось вдоль. Клен успел подхватить обрывки, но ветер как-то ловко ударил ему под руки, выхватил, разодрал, растрепал клочья и унес вон. Надсмеявшись, буря несколько раз покрутила беспарусный плот, пошвыряла его по склонам волн и стихла. Тучи излили из себя остатки дождя и сгинули, унеслись прочь, выпустив жару, зной и безветрие. Так Клен окончательно потерял дрова, припасы, очаг, весло и драгоценный подаренный Сойкой парус. Клен опустился на голые бревна.

...Жара придавила его, заставила сторбиться. Штиль и безветрие угнетали хуже грозы. Целый день мерещилось, что плот стоит на месте, а море лишь мелко плещется тихой зыбью. В воде, кажется, выросла доля хлора. Вкус его стал отчетлив и ощутимо противен. Клен, морщась, изредка пил прямо из-за борта. Ночью на плот и море опускалось давящее слепое глянцево-черное молчание.

В духоте и жаре ему приснилось, будто Сойка и Учитель Горг сидят на внешнем берегу Острова, а где-то за их спинами шумит лагуна и шелестят своей листвой смоковницы.

– Когда-то некий сын пришел к своему счастливому отцу, – думая о чем-то своем, рассказывал Учитель Горг, – и попросил: «Отец, выдели мне мою долю счастья». Отец огорчился. «Все, что у меня есть, есть и у тебя», – уговаривал он. Но сын упрямился, взял свою долю счастья и ушел далеко-далеко, так далеко, что никто и не видел его.

– Учитель Горг, – перебила Сойка. – Я не понимаю, как это может случиться. Что такое «далеко-далеко»? Я могу за полчаса обежать Остров и поздороваться с каждым из живущих на свете людей. Как можно уйти в такую даль, что никто тебя не увидит?

– Я не знаю, – растерялся Учитель Горг и с удивлением посмотрел на Сойку. – Так рассказывается, это очень старая быль. Наверное, «далеко-далеко» можно понять как метафору. Считай, что это – море, житейское море с водоворотами и бьющими волнами. Его плот крутило, терзало и било, он растерял все, что имел с собой. Сын голодал и скитался, растратил в дороге все отцовское счастье, потерял рули, весла, парус... и вдруг понял, что очень-очень хочет домой, чтобы счастливый отец издали увидел его, простил и побежал навстречу.

Сойка вдруг резко повернула к нему голову:

– Горг! – она впервые назвала его без приставки «Учитель», как взрослый взрослому. – А Клен еще может вернуться?

«У него... у него больше нет весел», – показалось Клену, что так будто бы ответил ей Горг. На самом деле сон улетал, и это были его собственные мысли.

...Весел не было. Оставалось грести руками. Клен в который раз пожалел, что не смог найти дома медной уключины, удерживающей весло. На второй день, когда он заметил, что

острова впереди все-таки приближаются, тогда на фоне неба и белесых вершин резко вычертился кусочек миража – еще мутный и затуманенный дымкой.

Клен подскочил, приветствуя его. Почему-то думалось, что если он видит остров, то и островитяне той же причудой оптики видят его. Он замахал руками.

Остров в мираже был одинок, скоплений вокруг него не замечалось. Это – атолл, не сомневался Клен. Остров был серо-красным. На одном его краю поднимались горы. Клен быстро вообразил, какая на этих горах растительность: красная, шевелящаяся.

Внезапно из-под горы, мерцающая и пульсируя, ударил в небо столб ярко-белого с голубизной света и выполз, волнуясь в потоках воздуха, клубящийся сноп красного дыма.

– Зовут! Ведь они же зовут меня! – не выдержал Клен. – Э-эй! Иноостровитяне! – мираж медленно таял, и остров растворялся в воздухе.

Снова упав на колено у самого края плота, Клен бросился руками гнать воду назад, мимо себя, чтобы плот шел быстрее. Кажется, Клен поймал течение, и истрепанный плот побежал, мелко покачиваясь и осаживаясь в воде так, что Клен погружался в нее по щиколотки.

Измучившись, он захотел пить, он упал на живот и погрузил голову в воду. Вкус растворенного хлора едко ощутился в гортани. Прямо в воде Клен широко открыл глаза. Вода под ним была не мутная, прозрачная. Вся глубина ее обозревалась на мили как вниз, так и в стороны, широким конусом. Дневной свет пронизывал ее и исчезал где-то глубоко-глубоко, иногда отражаясь, как кажется, от серо-желтого дна. Клену почудилось, что он летит на плоту высоко над чужими непознанными мирами. Громадные черные глыбы проплывали под ним, возникая из мрака водной толщи, и, как мерещилось, едва не задевали плот вершинами. Скалы вырастали со дна, и, окажись они сотней саженей повыше или океан помельче, то высилась бы над водой тысяча островов, возможно сросшихся в один сверхгигантский, до ужаса необозримый остров-материк.

...Мимо островов плот проходил поздней ночью. Во тьме Клен слышал, что шум моря изменился, и вода где-то бьется о камень. Плот двигался – это ощущалось по качке. В предрастветных сумерках вокруг наконец-то проступили плывущие в безмолвии белесые горы. Горы, медленно ворочаясь, меняли очертания. Кажется, виною этому был предутренний туман. Одна гора, как показалось Клену, нависла над плотом, угрожая пасть на него, и выставляла напоказ все выпуклости и неровности своих склонов. Гора была обрывиста и бела, как мел, наверное, из-за слагавшей ее кальциевой породы.

«Это, должно быть, и есть мел, – озирался в тумане Клен. Говорить вслух было отчего-то боязно. – Учитель Горг объяснял нам, что мел – геологический признак отживших организмов. Хорошо бы, чтоб это был мел... Пусть бы эта гора хоть когда-то была живой».

С рассветом Клен увидал, что белесый туман ключьями ползет по воде и отдельные его языки, стелясь особенно низко, на глазах зеленеют. Хлористый туман жался к воде и надвигался на плот справа. Дунул слабый ветер, зеленые клубы хлора скользнули ближе. Хлор несло точно на плот.

Клен закричал что-то нечленораздельное, срывая с себя рубашку и путаясь в ней. Облако хлора напозало. Клен сунул рубашку в море и мокрой, истекающей водой тканью замотал себе лицо – рот и нос, оставив одни глаза. Хлопья зеленого газа окутали его, на миг пропала способность ориентироваться, заслезились глаза... Нестерпимо захотелось жадно дышать – дышать не переставая. Клен, притискивая мокрую ткань к лицу, судорожно вдыхал и выдыхал что-то, будто кричал кому-то.

Боковой ветер понес плот в сторону. Клен, плача от хлора и от отчаяния, тщетно греб руками, думая, что так он быстрее вырвется из облака. Ключья хлорного тумана, клубясь, летели через него, и не рассеивались, но жались к низу, к воде, к плоту, потому как были тяжелее воздуха. Клен отчаянно кричал, а мокрая рубашка скрадывала звуки, выпуская из себя одни лишь обрывки фраз:

– Ино... тяне! ...гите! – Клен звал на помощь. Единственная цель, единственная надежда – виденный в мираже остров – был далеко-далеко, и Клен просто-напросто молил судьбу сжалиться.

Зеленый хлористый туман исчез. Ветер прогнал и развеял его клочья и выволоч плот к чистому воздуху. Плача, Клен стал стягивать с лица мокрую рубашку, но тут суденышко его вздрогнуло от удара. Клен охнул, падая. Что-то скрежетнуло. Отмель, подводная скала, неродившийся остров, корябнул по связанным бревнам и скреплявшим их поперечинам.

Что-то хрустнуло. Клен это слышал. Лопнула размокшая пенька. Одно за другим бревна, освобождаясь, отскальзывали по воде в стороны. Незакрепленная мачта опрокинулась и рухнула. Клен по горло оказался в воде.

Он вскинул от неожиданности руки, наглотался воды, выплыл. Бревна крутились вокруг него. Уворачиваясь, он чуть не утонул, чуть не захлебнулся, но вовремя вцепился в одно из бревен. Другое твердым концом преобольно ударило его в спину. Он разжал руки, волна отнесла его в море. Плеская руками и ногами и удерживаясь на поверхности, Клен видел, что кругом нет ни клочка тверди, кроме этих кружащихся бревен. Он бросился к ним, поплыл, сопротивляясь волне.

Так Клен потерял в море свой плот. Он еще полагал, что это – его последняя потеря, и больше терять ему нечего. Он смог ухватить пару бревен и к ним еще третье, расколотое. Он ухитрился на плаву свести их и связать рубашкой и ее рукавами. Он кое-как взобрался на них, даже сел верхом, но скоро улегся, спустив в воду и ноги, и руки, чтобы можно было грести.

Только теперь он заметил, как стучат у него зубы и как сводит дыхание. Далеко-далеко впереди выступила из океана точка. Клен справился с судорогой и с дыханием, он сориентировался. Это – она. Единственная. Так решил Клен. Пусть это и будет Землей Красного Дыма.

За следующую ночь точка стала более отчетливой. Она уже не исчезала в тумане и в дымке. Атолл, видимо, был огромен, но лежал страшно далеко: приближался он медленно. Много быстрее явились из дымки над горизонтом и выросли угольно-черные, должно быть базальтовые, скалы – макушки виденных под водой гор.

Черные скалы встали поутру, после тьмы, когда небо и отражающая его вода были красны как свекла. Они выросли и теперь матово поблескивали вкраплениями кварца. Клен поежился, разглядывая скопления чужой Вселенной.

«Вот он какой – дивный новый мир», – подумал Клен, ощущая дрожь между лопатками.

Скалы медленно поползли навстречу, окружая и обступая его полукольцом, но не двигаясь ближе, чем на полмили. Черные провалы, ямы, пещеры зияли на их поверхностях. Глыбы нависали одна над другой, уступами свешиваясь в море. Выветривание и тепловые эрозии придали им дикие формы. Вода подтачивала их, пенясь белизной на черноте базальта. Свекольное небо с рассветом серело, бордовые пятна на воде растворялись.

Ни звука. Ни зова, ни оклика не доносилось со скал. Отсюда, с расстояния во много сотен взмахов весла было видно, насколько пусты и мертвы были горы. Стараясь не глядеть на черные скалы, он сосредоточенно плыл все дальше и дальше мимо них, мимо этих чужих гор. Новое, неудобное, ощущение взялось есть его изнутри.

– У меня на Острове были голуби, – говорил сам себе Клен. – Не мои, лесные. Я думал, они станут носить мне письма, когда я уплыву к чужим землям. А еще на Острове были черепахи. Я думал, они научатся плавать через море и присылать приветы. Я думал, что буду рад тем приветам... А сейчас я дождевому червяку обрадуюсь, медузе, головоастике!

Черные скалы чуть двигались, вода шумно плескалась, и бревна, хотя и плыли, казались застывшими на месте.

– Пауку! Устрице! Комару зудящему!

Клен греб все сильнее, перечисляя все новые виды жизни:

– Губке коралловой! Планктону водному! Грибнице!... Так ведь нет же, ни души кругом...

Мир кругом помутился, подернулся вдруг чем-то прозрачным. Кусая губы, Клен зло вытер глаза. Он не поверил, что на глазах его собственная, чуть соленая влага.

– Грести нечем. Плот идет медленно, – он упрямо звал свои два бревна плотом.

Он вывернул шею, зло разглядывая скалы. Волна, отражаясь от отмели, клубилась, что-то неся на себе. Клен хмуро всмотрелся. Что-то длинное и темно-серое лежало на волне, иногда с нее скатываясь. Мокрая деревяшка, поблескивая, высывалась, приподнимая на гребне волны край своей лопасти. Клен вытянулся, подался в сторону, к этой знакомой и дорогой вещи. Подхваченное течением весло проплывало мимо, чуть поворачиваясь и тем замедляя свой ход.

– Стой! Стой же! – заколотил по воде Клен. Броситься в воду и ловить весло он не решался, боясь не догнать потом связку бревен. Волна закружила весло, подбросила, и оно оказалось впереди – всего в двух саженях. Клен сильно подгрел, потянулся, рискуя перевернуться, и ухватил край лопасти: – Поймал!

Вот оно! Весло! То самое – захваченное штормом и унесенное в океан. Оно не пропало. Его подхватили течения и занесли сюда, к черным скалам! В воды, где так близка чужая Земля с ее неизведанными сигналами и маяками.

– Это мое весло! – Клен вскидывал его над головой. – С ним можно переплыть море и увидеть все острова и горы. Оно с Земли. С моей Земли, где весла в виде деревьев растут прямо из почвы! – Клен кричал до хрипоты и колотил по воде ногами. Черные скалы молчали, в безразличии отражая крик, а ветер только свистел, разнося эхо.

Так прошло много дней. Черные скалы исчезли. Открылись новые, совершенно незнакомые скопления, которые на Земле зовутся сверх-сверхдальними и которых ни один человек еще не видел даже в мираже. Клен плыл по плечи в воде, держась рукою за бревно и панически боясь его выпустить. Два других пришлось отвязать и отогнать в море.

...Когда бревнышко всего одно, оказалось, что можно плыть, удерживая его подмышкой, и еле-еле грести ногами... Еще на него можно положить голову и спать. Ноги при этом, наверное, сами гребут во сне. Хотя точно Клен этого не знал... Каждый час он просыпался в другом месте, формы скал и скоплений заметно менялись... Бревнышко качивало и снова тянуло в сон.

Весла при нем давно уже не было. Оно пропало, когда Клен спал. Выскользнуло из руки и сгнуло. Так неожиданно выяснилось, что терять самое дорогое можно до бесконечности. Только с этого часа потерями станут не весла и бревна, а силы и уверенность в себе.

Вода затапливала ему плечи, плескала в лицо, дышала слабым хлористым вкусом. Кажется, пить ее еще можно. Клен, впрочем, не пытался. Вода часто сама вливалась ему в горло. Клен иногда ее сплевывал и сузившимися зрачками глядел вперед, над кромкой гребешков волн. Губы непрерывно и бестолково повторяли на все лады:

– Единственная... цель и надежда?! Мое... непреложное отечество?!

Волны пенились, скользя через его бревнышко. Волны поднимались горбами перед лицом Клена, заслоняя ему обзор. Кружилась голова. Быстрое течение несло его, томительно качивало и иногда накрывало с головой валами воды.

Клен уже не представлял себе, куда его несет течение. Как-то утром из густого, но уже расплывающегося тумана на пару мгновений возник какой-то утес. Кажется, остров, кажется, атолл, кажется, земля... Чуть живой от головокружения Клен едва увидел, как из-за утеса вырвался, устремляясь кверху, кристально-белый сигнальный столб света.

Клен не мог уже приподняться над водой, крутые пенные волны перед лицом мешали разглядеть, что впереди. Он опустил на руки голову. Щекой почувствовал кусочек гладкой сырой древесины и протянул медленно и протяжно:

– Земля уже где-есть. Они меня спасу-ут.

Несущее его течение не спорило с ним, а только шелестело, заливая ему спину и затылок. Волна вдруг вспенилась, и Клен, кажется, на какой-то миг коснулся чего-то ногами, потом что-то ударилось, бревнышко сотряслось... а Клен вдруг ощутил, как море под ним закаменело. Или нет... Кажется, он сам лежал теперь на берегу, а море, клопоча, ворочалось уж где-то позади его.

Очнувшись, он осознал себя лежащим на земле. А под лицом, под грудью, ощутил чуть теплые, нагретые воздухом камни – мелкий булыжник и гальку. Правая рука была вывернута и откинута в сторону, а на пальцы ног набегала волна. Клен пошевелился.

– Я уже здесь. Где вы? – проговорил кто-то. – «Ах, да это же я сам», – комок сжался где-то в глубине живота.

Клен рывком сел и распахнул глаза. Свет ударил в зрачки. Клен заморгал, привыкая: сквозь блики и цветные пятна возник изжелта-серый берег, сплошь усыпанный мелким колотым камнем. Камень валялся везде, он покрывал берег, он уходил вглубь острова. У Клена похолодели конечности: ни птичьих гнезд с яйцами, ни ящериц, ни клочков кустарника... Только берег впереди резко взбирался вверх, образуя каменистый обрывистый склон высотой в десяток саженей.

Клен медленно встал и вдруг, не разбирая дороги, побежал туда, чувствуя лишь, как бьют в босые ноги грани камней. Впереди, в склоне обрыва он увидел тень. С разбегу Клен ткнулся в нее руками и всем телом, ища в тени хоть каплю влаги, а с нею любую, единственную, крупинку жизни – хоть краба, хоть насекомое, хоть раковину от моллюска. Но склон был высушен нагретым воздухом, и только крошки колотого камня посыпались из-под пальцев.

– А ведь здесь и нет никого, – разжался, наконец, где-то внутри комок. Клен передернулся и, удерживая дрожь, полез вверх по склону, выбирая, куда опереться и куда ставить ногу.

С высоты верхнего края обрыва, открылось, насколько широк и протяжен чужой остров. Намного, в полтора, а то и в два раза шире родной земли. Голый невзрачный булыжник покрывал этот мир целиком. Не было ни чахлого лишайника, ни пробивающегося мха, ни травинки. Вот только чуть впереди, подальше, в лагуне волновалась зыбь на воде...

Спотыкаясь на камнях, Клен кинулся вниз с отлогого склона. Земля оказалась атоллom, а значит там, в соленой и согретой вулканом воде лагуны, еще могла таиться иная, неведомая жизнь... Но уже здесь, уже отсюда было видно, что лагуна на дальнем своем краю прорвана и плещется в ней тусклое, серое с прозеленью море. Клен упал перед водой на колени. Сунул в нее обе руки, судорожно вздохнул: лагуна атолла пахла хлором. Вода в ней была чиста, стерильна, обеззаражена.

Клен отполз от воды шагов на десять и принялся копать. Он руками черпал и отсыпал в сторону мелкую гальку и крохи камней, отгребал и откатывал щебень, отваливал крупные куски камня. Он рыл большую яму, уповая, что может быть там, в глубине, на дне вот этой вот, обманувшей его Земли, прячется от него хоть какая-то живая крупинка. Ни корешка, ни червячка, ни слизня не оказалось под щебнем. Он выкопал яму, в которую сам смог войти по пояс, и тут же понял, что всё: отгребать и откапывать уже нечего. Он добрался до дна, до нерасколовшейся в щебень монолитной тверди, до самой вулканической лавы, остывшей давно-давно – эпохи и эпохи назад. Ни умершей ракушки, ни отпечатка древней окаменелости, ни иного следа бывшей или будущей жизни здесь не нашлось.

Скрючившись и обхватив руками колени, сидел Клен на дне ямы и только изредка выглядывал туда, где глаз мог уткнуться в виденный еще с моря утес. Вдруг нечто заставило его сжаться, припасть к краю ямы, слиться с ним. Что-то огромное, бесформенное росло и надвигалось то ли прямо на Клена, то ли мимо него, а может и вовсе – вверх, в высоту. Тусклые, текущие массы возникали, делались все гуще, клубились и перекатывались. Из-за спины утеса

возрастал и полз кверху густой, привлекающий странным красно-бурым оттенком туман – или пар. Или дым.

– Аа-аа-аа! – закричал Клен, как-то нелепо и по-собачьи, подгребая, подкапывая руками, чтоб вылезти из ямы. Край каменного крошева обрушился, полузасыпав ему колени.. Вырвавшись, он побежал к утесу, сильно прихрамывая.

Судорожно выдыхая, бежал Клен, огибая утес со стороны, дальней от лагуны. Ведь кто-то же звал его, кто-то сигналил ему цветным дымом, видимым через моря! На этот зов, на этот сигнал он и примчался, едва не пропав в водоворотах и ядовитых туманах. Что будет, если красный дым вдруг исчезнет, вдруг сгинет как не был, выставив все виденное бредом и блажью?

III

Море. Оно просто отражает небо и хмурится на своем лице чужими облаками. Небо. Оно – другое. Оно ждет человека, рванувшегося вверх с четверенек. В море под небом застыл и оформился каменный остров, бывший вулкан, родившийся из остывающей магмы. Атолл. Остров, обязанный стать домом, чьим-то непреложным отечеством. Дом – это жизнь. Но на острове нет жизни. Где ты был, дом? – спросит Некто, – где ты был, дом, когда человек был избит выбранной им дорогой, изранен невзгодами, истощен и обессилен страстями? Я был с ним, – ответит Дом, – я был в нем, потому что Дом – это любовь, это место, где тебя примут даже избитого и обессиленного. И только тот, кому прикосновение любви тягостно до боли, будет покинут своим Домом из сострадания. Нет большей муки, чем чувство этой оставленности, нет большего горя, чем состояние такой заброшенности. Багровый дым закрывает тогда свет забытого Дома. Дым сгущается, клубится, крепнет, своими клубами он застигает уже не только свет, но и тот неверный призрачный блеск, что кто-то по ошибке принимал за маяк на пути к Дому.

О, счастлив тот, кто еще сможет хотя бы вспомнить Дом непреложного отечества и устремиться к нему из задымленной бездны!

Клен не рассказал об этих откровениях иноостровитянам. Не потому, что так и не встретил их на острове, вовсе нет. Он просто сберег для себя эти мысли, он, может быть, еще скажет их в свой следующий раз.

Утес как-то очень уж скоро оказался сзади, а за утесом открылся залив, край лагуны, полный чуть красноватой, железистой по цвету воды. В это мгновение в небо ударил столб света, кристально-белого и чуть голубоватого. А возле Клена на расстоянии вытянутой руки в склоне утеса показалась – не появилась, а именно показалась, померещилась боковому зрению! – ниша, словно затянутая пеленой из дымки и неверного блеска.

Нет, никакой ниши не было. Это лишь игра бокового зрения. Клен замер, в бессилии опустив руки вдоль тела. Красный пар еще поднимался, а Клен уже качал головой из стороны в сторону, постигая ненужную ему теперь тайну. Весь этот склон, вся подошва этого утеса покрыты были слоями обыкновенной ржавчины, окисленной рудной пыли, и охрой – красной глиной, окрашенной окислом железа.

– Эй, осторожно, осторожно! Он у тебя стал двоиться. Идет эхо!

Нет, он не слышал этого голоса. Он уныло разглядывал окрашенный окислом железа склон утеса. Веками эрозия разрушала этот берег, обнажая охристую породу. От старого жерла вулкана, что когда-то торчало над морем, остался теперь пологий склон и одинокий утес. Ночами прилив затоплял этот склон, а уже днем подошва утеса, накаляясь в жару, дышала испаряемой влагой, смешанной с частичками красной охристой пыли.

Ох, да причём здесь эта охристая пыль?! Клен не мог оторвать глаз от этой ниши с ее пеленой из розоватого пара и света. Казалось, ее, пелену, можно раздвинуть руками и просто войти в нишу утеса, которая как комната внезапно окажется глубокой и просторной.

Нет никаких глубин и простора. А всё дно залива и часть склона утеса просто обильно усеяны вкраплениями блестящего кварца. Когда случалось, что клубы поднимающегося пара не заслоняли собой свет, тогда этот кварц сиял как зеркало, и в небо бил различимый в частицах пара столб яркого света. Да, на тусклом фоне охристого пара этот свет вправду казался неестественно белым, искусственным. Вплоть до нереальной голубизны.

...Клену так явственно вдруг вспомнился его дядя Лемм, раскрывший банальную разгадку Зеленеющих Островов...

Собравшись с духом, Клен все-таки попробовал и шагнул в эту нишу, прямо сквозь пелену из красного тумана и неверного блеска. Он сначала думал, что пелена будет немного щекотать ему всё тело. Но нет, он только ощутил, как у него ухнуло сердце и как похолодели руки и ноги....

– Он уже здесь. Можно отдыхать, трансадресация кончилась.

– Сбои, проблемы? Он в порядке?

– Да сто пудов. С ним уже можно разговаривать.

Внезапно Клен увидел себя в огромном и светлом помещении с удивительно гладкими темно-синими стенами. Пол неприятно охлаждал босые ноги. Клен не мог понять, из чего этот пол сделан – что-то теплее льда, но резко холоднее дерева.

– Эй, да он совсем голый. У нас же прайм-цайт, по любому станут смотреть дети.

– Без проблем, перед показом делаем видеошопом гавайскую рубашу и нормальные шорты.

Откуда неслись голоса, не ясно. Клен порывисто оглянулся – за спиной осталась не пелена из дыма и света, а жесткий темно-синий занавес. Клен засомневался, что сможет прямо сейчас выйти назад, на Атолл Красного Дыма. Из матовых окошек под потолком полыхнул белый-белый и очень яркий свет, теперь-то уже точно – искусственный. По ушам ударила музыка – ритмичные, высокие, перебивающие друг друга звуки. В сторону отступил кусок синей стены, и из темноты вышел на свет иноостровитянин.

Он оказался неожиданно схож с человеком. Чужак был полноват, хотя двигался легко, но при этом был выше нормального человека, похоже, на целую голову. Клен резко вдохнул, хотел что-то сказать, но удержался и руками хотел вцепиться в занавес.

– Не закрывайтесь руками и ведите себя естественно! После на вас изобразят реальную одежду, договорились? Я ваш ведущий. Я буду ставить вопросы, а вы по возможности легко отвечать.

Клен поспешно кивнул, разглядывая во все глаза иноостровитянина.

– Скажите, Клен! Вы ощутили себя блудным сыном, ищущим архетип непреложного отчества. Это так?

– Я... Да. Не отчество, а Дом... – свет бил в глаза и заставлял щуриться. Происходило ли вверху за матовыми окошками какое-то движение, Клен не знал, но почему-то этот вопрос больше всего его беспокоил.

– Тогда что же вы почувствовали, когда поняли, что ваша мечта – всего лишь пар, а маяк – призрачный блеск и вода, уходящая сквозь пальцы?

Клен нерешительно отступил на шаг, но сразу ощутил за спиной суровый и шершавый занавес. Вопросы звучали как-то резко и приподнято, словно ведущий произносил их не для Клена, а для кого-то постороннего.

– Я не знал, – бросил он невпопад. – Но... вы же здесь.

– Вы позиционируете себя как креативную модель человеческой жизни? Вы – архетип скитальца по волнам жизненного моря?

– Нет. Я просто плыл на моем плоту. Несколько дней...

Клен вдруг обессилел и понял, что сейчас упадет. А пол под его босыми ногами был, все-таки, очень странен. Пусть мягче листа железа и не так тверд и порист как камень, но все же не так упруг как натянутая дубленая кожа.

– Послушайте, Клен, – ведущий попытался говорить теплее. Он даже подошел поближе, и Клен тут же очнулся, потому что пришлось приподнять голову. – Вы абсолютно не понимаете происходящего? – («Знать бы теперь – здесь все так высоки, как этот человек?...») – А предположений не строите?

Чтобы не упасть в обморок, Клен изучал ткань одежды на человеке. Вот... Это не лен и не хлопок. Наверное, полотно вообще не домотканое. На родной Земле так тонко и прочно никто не ткёт и не вяжет.

– Я на атолле с маяком красного дыма!... – предположил Клен. – Или я уже где-то в другом месте?... – осторожно спросил, пробуя поглядеть в глаза иноостровитянину.

– Работаем! – громко сказал ведущий кому-то в пространство, явно не Клену. Потом за плечо развернул Клена чуть в сторону. Прямо на стене под слюдяным окошечком зажегся красный огонек. – Наш гость не сразу поймет происходящее. Я только напомним: мореплаватель Клен относится к восьмому поколению диджитонавтов. Клен, – человек отступил и чуть сверху посмотрел на Клена, – три года назад по мейнстрим-времени ваш пятижды прадедушка стал добровольным участником первого Диджитал-Хроно-Трансформированного Сафари. Собственно, вы являетесь стопроцентным победителем. Вы готовы разделить приз с сопережником из мейнстрим-цайта?

Ведущий замолчал. Клен догадался, что кто-то за гладкой синей стеной терпеливо ждет его ответа.

– Я же ни на что не рассчитывал...

– Не спешите с конкретным заявлением, – перебил человек. – Подробности вам со временем разъяснят адвокаты, а отказаться от публично высказанного намерения станет не просто. Всё, уберите свет! Мы закончили.

Ведущий вытер лицо платком, стерев с кожи то ли слой краски, то ли пленку, прячущую выступавший пот. Снова приоткрылась дверь в полумрак.

– Смелее, Клен, – подбодрил высокий иноостровитянин. – Ступайте, там будет полегче. Здесь под софитами жарко.

Горячий свет из слюдяных окон угас, красные огни под другими окошками пропали. Клен переступил порог и в полумраке нечаянно толкнул плечом чью-то спину.

– Ох, извините...

Человек десять за узкими столами у стены над чем-то работали. Щелкали клавиши. На Клена с любопытством оглянулись. Над столами в прямоугольных окнах маячили изображения самого Клена и его ведущего – словно портреты в рамах. Правда, изображения двигались и ускорено повторяли всё то, что произошло в зале с гладкими синими стенами, а синий фон сам собою клочок за клочком исчезал. Вместо него появлялся живой лес – всё как дома, на Острове, только лес перевит лианами. Наверное, для красоты.

– Слушай! Иди-ка сюда, – некто из двери напротив позвал его. – Не отвлекай их, а то дизайнеры не нарисуют зрителей для твоего эпизода, – судя по тону, человек горько шутил. – Прикинь, как народ обломается!

Клен, обойдя странные табуреты на колесиках, проскользнул к тому человеку. Те, кого звали «дизайнеры», на Клена больше не обернулись: смотрели в слюдяные окна вдоль стен и двигали по столам приборы вроде половинок белых груш с клавишами. А человек в двери напротив досадливо усмехнулся, невольно показав зубы, и потер свой лоб с двумя крупными залысинами. Клен подошел ближе и попал в новую комнату – светлее, но с такими же людьми, занятыми незнакомой работой.

– Что? Удивлен? – незнакомец обвел рукой комнату. – Это аппаратная. Хочешь посмотреть на свое «эхо»? – он за руку подтащил Клена к «окну», висящему на подвесах под самым потолком.

...Клен глядел в океан, глядел с равнодушного мертвого берега, словно что-то тянуло его в мир, в даль, за пределы сковывающего пространства. Где-то они там, вдали, забытые, брошенные – первооткрытые им скопления Паруса, Руля, Учителя Горга...

– Ну и как тебе здесь? – любопытствовал залысый. – Не в восторге?

Клен покачнулся. Как хорошо, что эта комната такая светлая и здесь так легко дышится... Клен с усилием прогнал головокружение:

– Да... ничего, все в порядке. Только люди тут... странные. – «Разговаривают как-то непривычно», – хотел он добавить, да сдержался.

– Ага. Ты попал, братишка. Ты решил, что здесь реалити-шоу? А это «реалити-сайенс» – наука, нуждающаяся в реальных спонсорах. Фигня, короче. Я ее разработчик, как и всего проекта. Вот эти за столами – цайтмашин-операторы, а вон тот, что у окна – Юра. Ты его слышал еще, когда стоял на острове!

Цайтмашин-оператор, тот, что у окна, поднял голову и кисло поглядел на Клена:

– Мы же вас звали, – голос Юры вправду оказался таким, что слышался Клену на острове. – Конкретно звали.

– Это Юрий придумал – фокусировать двойные миражи и цветные сполохи. Он здесь самый креативщик, – разработчик растянул одну половину губ в кривую улыбку. – Мы, правда, больше надеялись на Горга-Учителя. Но, кроме тебя, дальше всех заходил один Травник Лемм.

– Дядя Лемм? – замер Клен. – Но он давно плавал, дядя Лемм, много лет назад. Да и не к вам плавал, не на атолл Красного Дыма, а к Зеленеющим Островам.

Цайтмашин-операторы переглянулись. Клен вдруг понял, что сказал что-то абсурдное, а еще... что если эти люди встанут, то тоже окажутся на голову выше его... Здесь, видимо, все люди выше обычного роста.

Залысый разработчик поймал растерянный взгляд Клена.

– Ах, да, – он хмуро разомкнул губы и вдруг сделался неуловимо похож на дядю Лемма, когда тот мрачно курил свою махорку. – Ты держишь меня за иноостровитянина. Подойди к окну. Не сюда, Клен, это же плазматрон. Вон, я подниму жалюзи.

Белые полосы на окне собрались гармошкой, и Клен увидел за окном морской берег. Сердце радостно ёкнуло, картина мира не изменилась. Мимо окна тянулась полоса песчаного пляжа, а прямо до горизонта шелестел океан, весь серо-синий с прожилками зелени... Внезапно чайка-рыболов упала с неба и выхватила из волны рыбку, белую и с розоватой чешуей на брюхе. Поодаль всплеснула и заволновалась в океанской воде медуза.

– Это... это лагуна? – выдавил Клен. – Это не внешнее море, а бесхлорная лагуна с соленой водой и живыми рыбами, – картина мира покачнулась и рухнула. – Если... если второго берега не видно, то насколько велик весь атолл... Это не атолл, правда?

Залысый разработчик улыбнулся и второй половиной губ. Так вышло лучше, чуть теплее.

– На самом деле атолл, ты угадал. Но в бесхлорном океане, – он почему-то помолчал пару секунд. – Ты в мейнстрим-цайте. В основном потоке времени. А был в трансформированном. Здесь, прямо на базе, работает установка – Digital Chrono Transformer. Это была моя тема, братишка.

Он хмыкнул и только досадливо вздохнул. Клен был не в силах оторваться от шумящего живого океана за окном.

– Цифровая трансформация времени. Поймешь ли? Время это волна. Последовательность изменений, которые текут квантами, короткими порциями. Как бы микроскачки, малые отрезочки, за которые в материи что-то меняется. Ну, квантовые колебания. Короче, время – волна, оно аналогично свету и звуку. Хоть чуть-чуть меня понимаешь? – окликнул тот.

– А? – спохватился Клен. – Слова нет, – признался, – один общий смысл... То есть, в некоторых чертах, – быстро поправился.

– Ну да, – фыркнул разработчик. – В этом ты точно недалек от нас. Чем мы занялись, это по другому зовут теорией пространства и времени. Вот кратчайшая доля времени – 10^{-43} секунды – это известнейший квант, моментное колебание волны материи в вакууме. Так длиной этой волны естественно оказался другой известный квант – 10^{-32} миллиметра, – кратчайший отрезок пространства. Это константы, Клен, на них стоит наша вселенная.

Океан отвлекал. Казалось, каждая его волна несла в себе крупицу жизни. Рыба, планктон, водоросль. Разработчик от чего-то поморщился, поколебался, а стоит ли продолжать, но решил и продолжил:

– Короче, братишка. Первое, деленное на второе, дает скорость порядка сотен тысяч километров в секунду. Близкую к световой, к третьей нашей константе! С этой скоростью, выводим мы, физический вакуум и распространяет потенцию существования материи. Я не спешу, ты пока догоняешь?

Клен не ответил. Сердце давило грустью и болью, потому что этот океан был не возле родных Островов с их искусственными миражами, а здесь, в чужом доме.

– Не вещество или некое поле, – наверное, разработчик хотел выговориться, – а именно *потенцию*, проще возможность, *существования* материи. В общем, физическое *ничто* колеблется с известной частотой и амплитудой, а колебание формирует *понятие* времени, *понятие* пространства и *понятие* материи. Это креационистское излучение, Клен, это волна, на частоте которой, если хочешь, творился мир.

Морская пена бросалась на песок, оставляя после себя соль и губку водорослей. Разработчик пожал плечами, словно снимая с себя ответственность за свои выводы, а потом тоже уставился с Кленом куда-то за окно. В океан с его волнами, колебаниями и видимым отсутствием всяких берегов.

– Весь мир – колебание на известной и легко вычисляемой волне! – Вот эти слова Клен, наконец, услышал. – Есть колебание – есть и мир. Вот, смотри – перед нами вселенная, но, видишь ли, в этой вселенной мы не наблюдаем источника ее колебаний. Излучателя нигде нет! Ни в твоей вселенной, ни в нашей, ни... Короче, источник мира объективно находится вне самого мира. Хотя он-то и не дает миру потухнуть.

Клен по-прежнему не отрывался от океана. Волны – один вал за другим – наваливались на берег. Действительно, источник, что подарил мощный первотолчок этим волнам, здесь виден не был. Но надо ли его видеть глазами? Вот же – рвутся поднятые им самим волны.

– Послушайте, а здесь тоже глядят через океан, чтобы найти свое непреложное отечество? – Клен замер, ожидая ответа.

Разработчик как-то утомленно посмотрел на него.

– Так это же и есть та сфера фундаментальной науки, в которой побоялся работать Эйнштейн.

Клену ничего не сказало это имя. Разработчик неопределенно повел в воздухе руками:

– Эйнштейн якобы решил, что человечество к этой теории психологически и нравственно не подготовлено. Я-то думал наоборот: мол, дайте мне один излучатель, и я примусь творить миры и вселенные! Ну, да-да, творить миры – не округляй на меня глаза. Волну времени можно модулировать, как и волну радио. Так вот же!

Он настолько резко махнул рукой в воздухе, что Клен шарахнулся и предпочел отступить от него шага на три, не меньше.

– Так вот! Работает здесь конкретный трансформирующий центр, стоит на бывшей радиовышке реальный хроно-ретранслятор, а мы всей аппаратной паримся над беспонтовым видеошоу! У нас 70-кратный Zoom-коэффициент: в оцифрованном время-потоке меняется

уже восемь поколений, пока в мейнстриме еле-еле течет три года! А всё это никого не прикалывает. И что? Где тут вопросы психологии и нравственности?

– Меняется восемь поколений... – Клен выдохнул от напряжения, пытаясь увидеть своего пятижды прадеда. – Так вы что... вы же нас ускорили. Скорость нашей волны... то есть ее частота, – Клен сбился, запутался. – Мы живем в семьдесят раз меньше? То есть быстрее...

– Да нет же... Мы просто сделали вас «погромче». Вот и всё. Скорость волны с ее частотой – их разве что Создатель изменит, – он кривовато усмехнулся. – А амплитуду, высоту «гребня» волны – вот ее поднять в семьдесят раз можно. Кванты времени бегут с той же частотой, но эти микроскачки в твоём мире как бы качественнее, что ли, конкретнее, капитальнее.

Клен ничего не понял, и разработчик явно был раздосадован. Он перешел на слабо понятный Клену язык:

– Мир можно трансформировать. Запускаю цифровой усилитель – растёт «гребень» волны времени. Пространство и время, длина и частота волны – они же жестко связаны. Результат: возникает ваша вселенная цифрового потока, и она отличается от мейнстримной! Ну, другая космология, геофизика и всё такое. Важно, что субъективное чувство времени у вас выше. Здесь мы говорим час, а там материя уже изменилась на трое суток.

– Зачем это? – перебил Клен. – Зачем вам это, кто мы-то для вас в нашем мире?

– Сто пудов! – разработчик вдруг вытянул губы и рассмеялся – не злобно, не издевательски, даже скорей дружелюбно: – Это вечный прикол человечества – спросить взятое за шиворот высшее существо, в чем таинственный смысл существования. Вот-вот! Братишка, знаешь, а вы на вашем Острове – поразительная модель человеческого сообщества!

Он посмеялся, а потом резко умолк и вдруг серьезно добавил:

– А лично я до сих пор боюсь внезапного ответа именно на этот вопрос. – Из океана чайка-рыболов выхватила себе еще одну рыбу, но неловко понесла ее и вдруг выронила. Закричав, остальные чайки, закружили над морем. – Смотри, чайки, наверное, спорят, как далеко уйдет везучая рыба!

– Шатин, да ответь ты ему, – не оборачиваясь, буркнул оператор, которого звали Юра. «Шатин, – запомнил Клен, – а не разработчик. Разработчик – это не имя...»

Разработчик пожал плечами и опять отвернулся к окну.

– Наука сдохнет без спонсора, а самый конкретный из спонсоров это развлекательная индустрия, цифровое TV и компании реалити-видеошоу. Вот и всё. Шестнадцать фанатов экстрима сунули три года назад свои головы в проект Digital Chrono Safari. Победителем сафари станет тот, кто скорее поймет трансформированный мир и первым вернется. Вас там народилось уже восьмое поколение. А мы каждые пять дней монтируем о прошедшем у вас годе часовые клипы и выдаем это зрителям. Это прикалывает!

Голос у Шатина подсел. Наверное, от переизбытка сарказма.

– Кое-кто в прикладной науке вас всерьез изучает. Да-да! Защищены три диссертации. «Льняное сортовыведение», «Регулирование численности карликовых медведей» и «Социоэтнологические доминанты сверхмалых культурных сообществ». Чего тебе, Кирилл? – Шатин резко обернулся, спиной почуяв приоткрывшего дверь ведущего.

Ведущий протиснулся в дверь мимо столов с приборами.

– Сопреемник, – напомнил он. – Прилетел его сопреемник по выигрышу приза. Пусть парень договорится с ним. Слышите, Клен?... У него право на половину приза. Не понятно? Ну, юридически ваш прадед не признан в нашем мире умершим, и его брат теперь конкретно его законный представитель. Опять не ясно?

Правил этого мира Клен по-прежнему не понимал. Он не стал спорить, не стал возражать. Выходя из аппаратной, где его так манил живой океан с рыбами и чайками, Клен только услышал, как переговаривались за его спиной цайтмашин-операторы:

– Слушай, а «эхо» мне, наконец, «убить»?

- Да нет, не надо пока.
- Так фон от него сильный, и белый шум. Мне мешает.
- Ну, убей. Нет! Заархивируй пока.

Клен-«эхо» на плазматроне глядел в океан. *Миры-точки на горизонте подернулись тускло-зеленым, наверное, облаком хлора – в океане шли свои процессы, далекие от человека Клена. Серый океан выбросил из себя на берег вещь, длинную и, как древесина, темную. Клен узнавал эту вещь, выброшенную морем. На теплых камнях чужого мира лежала, неторопливо высыхая, его мачта. Та самая сосна, срубленная на родной земле. Обе реи были отколоты в крушении, а вдоль тела сосны бежала трещина. Клен медленно опустился к ней...*

Мимо дизайнерской комнаты его проводили в огромный зал со сводчатым глянцево-черным потолком. В зале из-за этой черноты грезилась вечная глубина и бездна. Клен порывисто глянул вверх, тотчас вокруг себя и снова вверх. Это напоминало глухую ночь. Ночь, наполненную светлячками, так как вся черная полусфера зала была усеяна мириадами огней-точек. Клен даже не сразу увидел ожидавшего его человека. Тот стоял, покачиваясь на носках туфель – крупный, полноватый, с заметным брюшком.

– А ты – Клен, да? – он громко поприветствовал: – Ну, так здарсьте! – наверное, Клен сразу должен был ему обрадоваться...

Ах, да... Клен не сразу понял. Человек был немного похож на самого Клена. Ну, точно. Он такой же светлый, с такими же сжатыми губами. Правда, лет на пятнадцать постарше... Собственно, и похож-то он был не броско, а так, скорее неуловимо. Так бывает у неблизких родственников.

– Ну, спорим, ты думаешь, что это планетарий? – гость двигался размашисто и резко, а говорил довольно-таки громко. — Ага, но планетарий здесь больше для антуража. Тут раньше была станция SETI – не слышал? Тебе это не говорили? Ну, программа была такая, исследования по поиску всякого внеземного разума.

– А-а...

Гость протянул Клену руку. Рукопожатие было какое-то вялое и слабое, что для такой резкости и такого голоса было удивительно.

– Я, правда, ничего не понял про сети... – Клен отпустил эту руку.

– Ну, мой брат здесь работал, – сказал тот, как будто это могло всё объяснить Клену. – Их потом закрыли из-за коммерческой неперспективности. Тогда Digital Chrono Safari и купил всю станцию.

Механизм за стеной черного зала чуть сдвинул огни-точки на потолке и на склонах свода. Клен переварил услышанное. «Светлячки» в их причудливых сочетаниях вдруг напомнили ему контуры Кита, Орла или Черепахи.

– Он ушел в другой поток времени? – Клен догадался. – В наш поток?

Он так и не понял, весело или горько закивал тот человек:

– Ну да. Ты теперь приходишься ему пятижды правнуком.

Глянцевая глубина завораживала. В глубине свода Клену мерещилось нечто живое и вечно подвижное.

– Так на этих вот огоньках мой прадед искал иноостровитян? – Клен теперь понял. – Они похожи... – он пристально вгляделся, – ну да, похожи на скопления островов, если на них смотреть издали.

Скопления медленно вращались. Это рождало иллюзию, будто одни огоньки были ближе, а иные на мириады дней пути дальше... Родственник-незнакомец воспрянул:

– Похожи, похожи! Есть спиральные скопления, миры-острова, течения солнечных ветров, – перечислял он все более увлеченно, тема, наверное, была его «коньком». – Тут даже есть черные дыры-водовороты, а в них пространство то ли замыкается, то ли меняется с временем местами, я уж и не помню. Этот ваш оцифрованный мир так похож на мейнстримный, на наш

основной – ну, прямо пародия! До смешного. Он парадоксальное искажение оригинала – как в преломляющей призме.

Ближайшие огни скоплений двигались чуть быстрее, чем сверхдальние. «Искажение» и «пародия» – вот это не понравилось Клену. Пятиуродный родственник (или кто он там?) своей оплошности не заметил. Глянцевая чернота – совсем как ночное небо на родине – напомнило океан своей непредсказуемостью. Ладно. Клен нахмурился. Хватит тут увлеченно руками размахивать. Клен перебил его:

– И миражи тоже есть? – Клен с удовольствием увидел, что родственник немного опешил. – Кто-то их вам фокусирует да еще зажигает лживые маяки? Да? – Клен выставил вперед подбородок. Родственник немного обмяк и как-то пообвис в плечах.

– Н-нет, Клен, – он посерьезнел. – Хотя, да, есть такая тема, что от сверхдальних звезд свет еще к нам не долетел. Но понимаете... – он вдруг заговорил на «вы», точно дистанцируясь Клена. – Если фантазия брата, наконец, исполнится, то до нас когда-то долетит свет населенной системы, и тогда скептики, я думаю, сильно обломаются... – он остановил сам себя: – Короче, Клен, цифровая хронотрансформация уже заканчивается. Safari полагает, что проект достаточно себя исчерпал...

– А не страшно? – у Клена очертились упрямые скулы. – Не боитесь увидеть, как однажды свет вашей же звезды отразится от зеркальной стенки? А? Если ваша вселенная тоже чья-то пародия...

Черный океан уже не казался ему живым. Он был велик и бесконечен, он по-прежнему захватывал дух вечной красотой, но... он уже не был обитаем в глазах Клена. Кажется, его собеседник с порядочным усилием воли пропустил мимо ушей последние фразы.

– Вы и так... – он трудно подбирая слова. – Ты же и так победил, Клен. Прикинь: весь мир это игра, и ты один всю эту игру выиграл. Ты же добился, чего хотел, вот тебе и новый мир, и другие люди... Короче, ты вправе забрать половину выигрыша, а это, поверь, средства к весьма конкретному существованию.

– Я ни на что и не рассчитывал, – Клен стиснул зубы и напомнил: – Я задал вопрос.

– Клен, да не упрямясь же ты! – родственник поджал губы. – В этой Вселенной других обитаемых миров нет. Это установленный факт!

– Тогда я вернусь в мой, – Клен был краток.

Скопления звезд висели и плавно перемещались над головой и плечами его родственника. Одно из них упрямо напоминало Белого Кита. Дома родной Остров прятался бы за его Спинным Плавником.

– Я же объясняю тебе, – сопережник по выигрышу уже терял терпение. – Ты из *этого* мира, из *этой* вселенной. Ты только родился в другом потоке. В оцифрованном, в искусственно трансформированном! Тебе не по кайфу станет туда возвращаться. Хроночастотный усилитель сегодня же после прямого эфира погасят! Ты разве не в теме? Твой «мир» по любому «стихнет», едва диджитал-трансформер выключат.

– Нет, не стихнет, – выдавил Клен. Он крепко сжал и разжал кулаки. Вот так же упрям он был дома на Острове, в день его размолвки с отцом. – Свет от звезды летит и тогда, когда звезды уже нет. Вы сами мне это сказали. Время как свет – тоже летит своей дорогой.

Собеседник отошел куда-то вглубь зала. Головой он заслонило одно из множества заходящих «созвездий». Он даже несколько раз всплеснул руками, будто еще сам с собой спорил. Клен силился представить, как по глянцевой черноте сводов течет волна времени, формируя материю и пространство. Внезапно на то скопление звезд, что было так похоже на спину Кита, лег прямоугольник дневного света.

– «Не стихнет», – досадливо повторил Шатин, залысый разработчик, подпирая плечом косяк двери. – «Не стихнет...» Эй, Егорушка, а в чем-то братишка и прав, ты слышишь? – Родственник в ответ только пожал плечами. – Прикинь, его поток времени умирает для нашего

потока. Но и наш поток «стихает» для его потока. Не догоняешь? Это как волны. Волны прошли одна сквозь другую и разошлись без проблем. Как бы угасли друг для друга. Но ведь волны-то по любому остались. Что?

– Камень утонул, – Клен встрепенулся, вдруг сообразив всю эту природу волн и колебаний времени. – Камень утонул, а волны-то все бегут и бегут, – сердце застучало сильнее.

– Угу, – родственник Егор повернулся и заслонил плечами еще два скопления звезд глянцевой черноты свода. – Вот один только камень об этом не знает. Он утонул!

– Но я-то живу в волне, а не в камне...

Сердце громко забилося. Привиделось, как на глянцево-черной полусфере волна времени рождает помимо этой черноты с ее огнями-точками еще и бесконечное море с его островами. Тут Шатина отпихнули от двери, а в планетарий влез, буквально толкаясь локтями, ведущий видеошоу.

– Какие камни и волны! – завозмушался он так искренне и так негодуяще, что Шатин чуть отступил. – Реально не догоняете? Короче, долбаный усилитель сто процентов выключат в конкретном моем прямом эфире. Какие еще возвращения в свои волны, вы тут о чем? Выигрыш сто пудов берут двое – праправнук-победитель и сопреемник из мейнстрима. Либо никто не берет! И тогда все шоу идет в отстой. Вы собрались беспонтово слить мне финал проекта?

Клен оглянулся, зачем-то ища «созвездие» Белого Кита, будто от него могла прийти поддержка. Родственник стоял в стороне, мял руки и пожимал плечами.

– Нет, не беспонтово, – решил вдруг родственник, – то есть не слить. Не надо эфира. Никакого не надо. Куда тянуть-то... Пусть он уходит домой и всё. Только немедленно. Считайте, это я отказался от выигрыша. Ну, в пользу чего-нибудь благотворительного – мне типа все равно, – он опять покачался на носках своих туфель.

У ведущего шоу опустились руки:

– Да вы оба... Нет, вы все трое по фазе съехали, – он махнул рукой и ни с того ни с сего попросил их жалобно: – А давайте сейчас хотя бы всё запишем. Типа всю передачу. Наделаем в видеошопе зрителей, нарисуем для романтики полумрак как бы под готику. Никто и не заметит подставы. Выдадим за прямой эфир – схавают... Что не так?

Сопреемник Егор покачивал головой. Созвездие Кита, наконец, выплыло из-за его спины. Почудилось недоброе, у Клена напряглись сразу все мышцы.

– Кирилл, – Егор наморщил лоб, – да он просто не успеет. В Сафари течет несколько лет. Только за сегодняшний день.

Что-то грохнуло – это Шатин взвился и, хлопая дверьми, выскочил из зала:

– Вы что, как это за один день столько?! – в аппаратной, шарахнула о косяк дверь. – Откуда несколько лет за день? У меня Zoom стоял 70-кратный! – от ругани разработчика заложил уши. – Кто поднял мне амплитуду?!

...Клен позже не вспомнит, как снова попал в аппаратную. Мелькнули коридорчики, двери, пролетели какие-то люди, Шатин на кого-то кричал, в аппаратной бил свет из раскрытого окна, дико шумело море, живое море, и пахло оно не хлором, но соленой прелостью, как небывалая лагуна... Люди, операторы, разработчик Шатин, ведущий Кирилл, родственник Егор... Даже не имена – непонятные люди, делающие непонятную да и совсем ненужную ему, Клену, работу... Вот Юрий, цайтмашин-оператор, заложив руки за пояс, наступает, вызываясь глядя на орущего Шатина.

– Ну, да-да, разумеется! Это я сделал «звук» «погромче». Чтобы вот его, – Юрий подбородком тычет в сторону Клена, – вытащить за один раз и не расчлененным пакетом. Мне же надо «расслышать» парня целиком, во всех деталях. Ты-то не хотел, чтоб я выдернул его пятью пакетами, по кусочкам, резанными файлами? Его просто нутром наружу могло вывернуть. Трансформацию пространства надо как-то минимизировать или наплевать? У меня вечно фон идет, помехи, реально «белый шум» достал уже. Ты сам-то отличишь на плазме, – он ткнул

на плазматрон, – отличишь реальное пространство-время от глюков и мусора? И я нет! Глянь, на трансфо-дисплее по любому «снег» висит. Без поднятого Zoom'a, без увеличения как я пойму, на каком пикселе у меня помехи, а на каком нормальные песчинки и брызги?

– Ты кончил? – Шатин говорил жестко.

– ЗА-кончил, – Юрий поправил не менее жестко.

– Теперь будешь слушать меня. Договорились?

– Окей, – Юрий даже не поменял позы.

– Ты, Юр, немедленно, не теряя секунд, адресуешь братишку из мейнстрим-сайта назад в хроноцифру. Окей?

– Да легко! – Юрка всплеснул руками.

Разработчик посверлил его взглядом, потом обернулся на притихшего Клена. Серый океан за окном все также клубился, выбрасывая из себя пену. Ведущий Кирилл не выдержал и вышел курить вон из аппаратной. Океан все шипел, брызгая на песок. Мутная океанская пена, наверное, была чем-то похожа на помянутый цифровой шум и мусор.

– Нет, ты не понял, Юра, – Шатин заговорил настораживающе тихо. – Короче. Тебе придется возвращать его в тот самый квант времени, в тот самый момент волны, из которого ты его изъял.

Юрка вспылел. Раздраженно дернулся куда-то в сторону. Табуретка на колесиках так и отскочила, завертелась на месте.

– Считаешь, ты самый конкретный, да? – у Юрия даже уши покраснели. – Тебе не придется программировать время, кодировать информацию, да прямо в реальной материи, в подлинном пространстве, как будто это тебе домашняя play-station! Тебе хочется творить время-потоки и пространства целых вселенных! По прихоти, по приколу! Да ты вечно, сколько я тебя помню, хватаешься за креационистские проекты. Шатин, тебе не придется быть Богом?

– Замолчи. Ты записал файл с его «эхом»? – перебил Шатин.

– Ну...

– Эхо обязано отразиться и вернуться в исходную точку.

На плазматроне шелестело источающее хлор море. За пестротой помех рябили белые камни, щебень и каменное крошево. Мерцал отодвинутый в край окна контур Клена-«эхо».

– Если всё чисто смодулируешь, – настаивал Шатин, – эхо наложится на свой же оригинал и совпадет с ним по фазе. Погрешность будет всего несколько квантов времени, пару мгновений. Короче, ты ретранслируешь файл с «эхом» обратно как отражение. А до этого ты наложишь на этот файл парня, и они – Клен и его «эхо» – в исходной точке сольются. Должны слиться!

Юрка недолго соображал, рассматривая Клена-«эхо» на плазматроне. Потом быстро замотал головой:

– Ты сам-то догоняешь, что произойдет? – Юрий сопротивлялся. – Наложение волн, совпадение по фазе... Будет же резонанс. Такой скачок амплитуды, что...

– Будет, – Шатин убежденно кивнул, – но мгновением позже. С тебя хватит и секунды, чтобы приглушить «звук» до нормального.

– Какого нормального? – опять вскинулся Юрка. – Нормальный поток – это мейнстрим. Остынь! Их мир просто вылезет внутри нашего, а у них даже законы природы другие. Вселенные наложатся, будет хаос, катастрофа.

Шатин, помрачнев, уставился на оператора.

– Знаешь, – настаивал он жестко, – я камешки-то в воду бросал, и не раз. Две волны одна сквозь другую проходят легко и запросто. Ничего не случится, короче.

Юрка не поверил. Скривился, нахмурился, предложил свое:

– Я отключу хронотрансформер и все. Уберу «звук» до нуля. Оцифрованная волна, скорей всего, достаточно поживет по инерции. Свет-то от звезды летит миллиарды лет, ты знаешь.

Из окна вновь потянуло прелостью и солью от огромнейшей живой лагуны. Клен в последний раз посмотрел на нереальное море, на это обиталище множества существ.

– Все-таки, выключаете? – вздохнул где-то в коридоре докуривший, наконец-то, Кирилл. – До финала, без эфира, даже без записи... Накрылось наше тупое шоу, медным тазом накрылось! Вместе с моей профессией.

– Ты вправду, – прощаясь, родственник Егор подошел, пожал Клену руки, – вправду очень похож на брата. Я думал, так только на экране... Ладно, буду теперь знать, что есть еще один мир, населенный людьми.

– Угу, как же, – Шатин испортил им прощание. – Мир, который субъективно через минуту для нас погибнет. Кстати, и наш мир для них тоже. Не жутко? – Шатин передернул плечами.

Клену не объяснили, что ему следует делать. Просто попросили встать поближе к окну, а сами, наоборот, отошли. Только оператор Юрий, прощаясь последним, вдруг виновато отвел глаза и бросил, почти через плечо:

– Короче. Программа-то рассчитала, как и в какой момент гасить усилитель...

– Но? – догадался Клен. – Ты ждешь погрешности? – Юрка мотнул головой и прямо ничего не ответил:

– Волна, все-таки, не луч, как в геометрии, не прямая линия. Это сфера. Волна бежит от центра к периферии. А поверхность сферы, она, брат, кривая.

– И?

Юрка пожал плечами и развел руки.

– Что такое кривизна времени, пытался объяснить еще папаша Эйнштейн. По-моему, он не объяснил этого даже самому себе. Уж извини.

Растерянный Клен мучительно вспоминал что-то важное, о чем напоследок непременно хотел спросить иноостровитянина. Вспомнил:

– Юр, а этот пол, на котором я стоял в синей зале, он из чего сделан? Это же не металл, не воск, не древесина.

– Что? – Юрий поднял брови. – Ламинат, типа... Как бы пластик такой.

Это было последнее, что услышал Клен от людей этого мира. Чем же, наконец, был этот мир – другой волной пространства-времени, как ему сказали, или Атоллом Красного Маяка с чудесами и тайнами его обитателей? Две вселенные соприкоснулись и проникли одна в другую. Клен упал на каменистом берегу, изранив о щебенку колени, а здание с жалюзи на окнах и с куполом «планетария» возникло возле утеса вместо залива с охристо-красной водой. Живое море с медузами и рыбами разлилось до самого горизонта, а неживой океан с хлорной водой шумел посреди моря, вокруг этого моря и прямо в самом море, странным образом не смешивая с ним свои воды. Два мира, словно две склеенные переводные картинки...

– Короче. Он все еще здесь, он не перенесся.

– Что?... Юрий! Это он двоится, опять идет «эхо»!

Клен-«эхо» босыми ступнями ощущал холодный пол из неизвестного материала, за спиной его было раскрыто окно, а в аппаратной под плазмотроном операторы прикипели к своим доскам с клавишами. На плазмотроне рябил «белый снег», а по его окну суетилась маленькая стрелка, пытавшаяся отделить реальные объекты от помех и шумов. Залысый разработчик мельком глянул на Клена, на мгновение поймал его взгляд и виновато отвернулся.

– Юрка, быстро погаси «эхо». На нервы действует...

– Чудовищные амплитуды, чудовищные, – простонал Юрий.

Что-то произошло спустя один судорожный вздох Клена. Наложенный мир-переводилка, вселенная-мейнстрим начал бледнеть и растворяться... будто это не мир с людьми и их заботами... а всего лишь пар, поднявшийся от залива лагуны необитаемого атолла...

...Ни рачка кругом, ни креветки. Клен, выброшенный на берег (давно ли – час назад, день или всего одно судорожное биение сердца?), в бессилии опустил руки. Голый пустой остров был раза в полтора, а то и в два протяженнее родной Земли. Невзрачный серый бульжник покрывал этот мир целиком, от внешнего берега до пустой хлористой лагуны. Ни чахлого лишайника, ни пробивающегося мха, ни травинки. Остров был пуст. Остров был мертв. Остров, обманув и изранив обманом самую сердцевину души, был более не нужен Клену.

Серый океан в бесконечной своей дали подернулся чем-то тускло-зеленым, наверное, облаком хлора – в гигантском океане-вселенной шли свои процессы, далекие от потерь и волнений одного человечка. Серый океан вдруг выбросил из себя на берег вещь длинную и темную как сырая древесина. На камень чужого мира выбросилась, чтобы остаться здесь на века, его старая мачта. Сосна, срубленная на родной обитаемой земле. Реи, как руки, были отколоты в крушении, а по всему телу, как рана, бежала трещина.

Клен медленно опустился к ней, не выдавая лицом своего чувства.

«Здравствуй, моя сосенка», – подумал он, и море, как когда-то, с шорохом лизнуло ему ноги. Клен ступил в воду, потом шагнул вперед еще и еще раз. Первая волна накрыла ему колени, вторая донеслась уже до пояса.

Клен бросился в море.

В первые дни пути ему хватило сил и собственной воли, чтобы держаться на мачте верхом и грести руками и ногами против течения. Позже он обессилел, лег грудью на мачту, и сосна под ним перевернулась. Он нахлебался мерзкой воды, отдающей хлором, его стошнило, но, забравшись животом поперек мачты, Клен смог поплыть дальше.

Вдруг оказалось, что можно плыть, раскинув руки точно вдоль мачты. Этот крест, который и понес его, стал первым горьким и счастливым приобретением после череды потерь. Собственно, он и стал единственным знанием о мире, которое Клен обрел, потеряв всё до последнего.

Клен – человечество. Клен – ковчег среди моря. Клен – единственный в океане жизни остров. Клен – Непреложное Отечество, которое ждет каждого далеко впереди и одновременно уже есть внутри, в самом сердце. А далеко-далеко – земля, далеко был дом, который сам по себе тоже единственный в океане и на котором каждая душа человеческая – единственная и неповторимая.

Ему снилось, что Сойка и Учитель Горг опять сидят на внешнем берегу Острова, а за их спинами шумят и шелестят смоковницы. Учитель Горг снова рассказывает старую историю о возвращавшемся домой сыне:

– ...Сын голодал и скитался, растратил в дороге отцовское, выделенное ему счастье... и вдруг понял, что очень хочет домой – туда, где счастливый отец издали увидит его, простит и побежит навстречу.

Сойка вдруг резко повернула к нему голову:

– Горг! – она впервые назвала его без приставки «Учитель», как взрослый взрослому. – А Клен еще может вернуться?...

Учитель удивленно поднял брови, а Сойка вдруг резко повернула к нему голову:

– Горг! – она впервые назвала его без приставки «Учитель», как взрослый взрослому. – А Клен еще может вернуться?...

Учитель удивленно поднял брови, а Сойка вдруг резко повернула к нему голову:

– Горг! – она впервые назвала его без приставки «Учитель», как взрослый взрослому. – А Клен еще может вернуться?...

...От сна, бесконечного как испорченная музыкальная пластинка, Клен очнулся на четвертый или на пятый день. Ему повезло. Сам он так и не понял своего везения. Жердь, на которой он простер свои руки, влекло волнами быстрее прежнего, а шквалистый ветер трепал его самого и подбрасывал на гребнях. Подхвативший Клена циклон пронес его мимо водоворотов,

мимо скал, гор и мелей, когда-то погубивших его плот. Поднявшийся ураган разогнал и рассеял хлороводородные туманы.

В спину Клена гнал ветер, а тучи, наоборот, неслись ему навстречу с какой-то сумасшедшей скоростью. Вдруг молнией, как неожиданной вспышкой, внезапно вспомнился виденный чужой мир... – «Да полно – а был ли он в действительности, этот мир мейнстрим-времени?». – Верхний слой атмосферы с тучами угрожающе надвигался, а нижний – с ветром, резко бьющим в спину, – рвался куда-то вперед... – «Синхронизация», – в голове вдруг возникло это незнакомое слово из ненастоящего мира. Вот-вот пронесется холодный фронт, вот-вот затопит все оглушающими ливнями... Так это же не тучи летят со сверхскоростью. Это же он сам, Клен, никак не «совпадет» со своим миром по «громкости» времени. А ведь там, в чужом и непонятном мире, в стране разработчиков и ведущих видеопроектов пролетели, наверное, лишь секунды, и оператор – («Да как же его звали? Я уже не помню...») – еще только гасит возникшее в аппаратной комнате «эхо»... – «Сейчас они выключат наш мир, и потоки времени, со всей их кривизной и всеми погрешностями, сами по себе успокоятся...»

Буря настигла Клена в скоплении Белого Кита. Шквалы ливня и ветра метали его из стороны в сторону, гроза оглушала раскатами, столбы молний вспыхивали по всему горизонту. Жесткие струи ливня колотили ему в спину и голову, здоровенные пузыри вздувались на волнах, водяные валы окатывали и топили его. Но фронт миновал, и Клен остался измученный, худой, отчаянный до закушенных губ и истощенный.

Неуправляемая волна подхватила и понесла Клена к скале, на мелкий утесик, торчащий посреди скопления. Клен смог только выставить вперед жердь, на которой плыл, чтобы врезаться в камень не головой и не руками... От удара сосна расщепилась и куда-то, как показалось темнеющему сознанию, из рук выскользнула... Осталась лишь резкая слабость, внезапный покой и долгая-долгая боль... Еще Клен заметил, что облака теперь плывут медленно-медленно. Крайне медленно. – «Они все-таки нас выключили...» – сказал он неподвижными губами бледнеющей и гаснущей перед ним вселенной...

...Далеко-далеко впереди, из-под стихающего дождя, на горизонте возникла Малая Нереида. Ее острова и возвышенности были пока полускрыты влажной дымкой. Земля – родной Остров – лежала сейчас как бы под скалою Грудь Нереиды, там, где у морской девы было бы сердце.

IV

...Когда море выкинуло его на берег, он был почти без сознания. Он валялся на берегу, а жар с неба припекал ему спину. Сухой песок пристыл к телу, мокрому, нагому, истощенному. Весь последний день он плыл сам – без обломков дерева. Он делал широкие взмахи, широкие настолько, насколько позволяли с каждым часом уходящие остатки сил. Полумертвый, он вжался лицом в песок, изрытый норками крабов и усеянный осколками ракушек, и не шевелился.

Первой отыскала Клена Сойка. Она тормозила, трясла его, возвращая в чувство и не давая забыться и пропасть во сне. Клен еле очнулся. Он услышал, как над ним свиреют птички-дроздовки и как плачет, ревет от счастья девчонка, повторяя на все лады:

– Кленчик, балда-а! Ой, ну Кленчик же, ну балда же, – с усилием она ворочала его на спину.

Клен разлепил губы, кое-как разомкнул глаза.

– Сой-каа, – еле-еле протянул он. – Он – пуст...

– Кленчик, опомнись! – вскинулась Сойка. – Я сейчас. Сейчас позову, люди придут.

Сойка рванулась было вскочить, куда-то кинуться, но Клен вдруг цепко поймал ее и удержал за руку. Он зашептал, забормотал что-то, Сойка склонилась ближе, чтобы расслышать.

– Тот остров, – бормотал Клен, – он же пустой, понимаешь. Совсем-совсем. Там никого нет, ни одной души, ни единственной. А я туда плыл, и как будто зря... Не-ет... не зря! – перебил он себя и заволновался.

– Кле-оон, – Сойка тихо позвала его с какой-то странной надеждой. – Ты больше не поплывешь завтра, ведь правда? – и вдруг сказала: – Кленушка, дурашка, я же все равно люблю тебя.

Клен распахнул глаза, поймал ее близкий взгляд над собою и заговорил быстро-быстро и разборчиво:

– Я же вернулся, я уже вернулся. А плот – плот разбился вдребезги. Там были скалы – острые скалы, прямо под гребешками волн, а я налетел на них. И я вернулся.

Он все повторял и повторял, а Сойка, успокаивая, кивала на каждое слово.

– Конечно, ну, конечно. А на плоту будем катать малышом в лагуне! – она сама же обрадовалась своей выдумке.

– В лагуне, – повторил Клен, внезапно осознавая, что же такое Сойка сейчас сказала.

– На мелководье, – кивнула Сойка. – Где ты сегодня спасал китенка.

Крабы и теплый песок приятно щекотали кожу. Возле головы была грудь любимой девушки... Волнующая, округлая кривизна времени замкнулась на самое себя. Брызги океана, песок. Ох, как трудно отличить их от досадных помех, от слабых, но посторонних шумов на частоте времени. Тот человек говорил причудливо странным языком, но обещал сделать все, что он сможет. Он сумел вернуть Клена почти в тот же момент родного времени. Погрешность сбила мастера всего на какую-то неделю.

Как было бы ужасно вернуться домой и узнать, что без тебя ушло прочь сто либо двести лет, или же, что ты и твои близкие вовсе еще не появились на свет.

Сегодня так хорошо. Клен вот-вот сольется с самим собой в мыслях и чувствах. День накануне отплытия. Счастливейший день его жизни, когда Сойка вдруг сказала, что любит его. Завтра он спустит на воду плот и уйдет искать свой мираж. Так блудный сын стал вечным скитальцем, что возвращается в один и тот же счастливейший день. Это так хорошо, что, кажется, слезы бегут из глаз.

Это лучше, чем если бы он пропал на том утесе. А еще... Еще опыт потерь и всего одного приобретения теперь бесконечен. В этом беге нельзя остановиться, потому что для Клена это и есть теперь его уникальная, неповторимая жизнь.

– Неповторимая, единственная... Как же не любить только за это?

– Я знаю, – сказала Сойка и повторила отчетливо: – Я тоже люблю тебя.

Он медленно выдохнул. Его голова лежала на груди Сойки. По теплому песку, шелестя, пробежал ветер. Песчинки, перекатываясь на ветру, сладко щекотали кожу.

Ещё один вечер Экодендрона

Мир сжался, будто взведённая кем-то пружина, и вдруг распрявился – гулко, радостно, как перекаты грома при вспышке молнии. Звёздная радиация, нарастая, захватывала собой всю округу. Я резко пробудился, уже предощущая её пока едва осязаемый жар. Белый кристаллический наст на грунте под её воздействием вспучился, треснул – и оплыл, растёкся, шумно впитываясь.

Я жадно пил. Я распрявил все члены, затекшие за время сна. Жизненные соки потекли во мне с болью – выше, выше, по всему моему телу. Последние дни мне стало так тяжело просыпаться... Я дико хотел пить и вонзался глубже и глубже в сладчайший, полный живой влаги грунт.

Питающие меня отростки так чувствительны! Они трепещут, переплетаются в глубине грунта. Я уже проснулся. Я почувствовал все мои сочлены, разнесённые по площади моей биозоны. Где-то глубоко в грунте, между ледяной водой и мною, я уловил вечную, живую, содрогающуюся под моими рецепторами Корнесферу. И вот теперь уже самой Корнесферой я ощутил сотни и сотни, а после и тысячи собратьев. Вся наша терразона проснулась.

Корнесфера донесла чужой мыслеголос. Я ощутил, почувствовал его в себе. Это была Йеэлль... Не знаю, почему она всё время мучает меня. Мне и так уже стало тяжело по утрам... «Йизстрик, привет. Ты уже работаешь?» – это она мне.

Я не ответил. Стремительно росла радиация. Мне даже казалось, что я чувствовал, как она пульсирует периодическими всплесками. Мне стало больно. Я мысленно охнул. Жгучая резь. От радиации моя кожа лопалась и вспухала почечными наростами, пока Йеэлль безумолку бормотала что-то про Бваом-Бвунгха и конференцию. Я не понимал. Мне было стыдно общаться: опять лучшая часть моих почек взорвалась и раскрылась фруттогенными органами, цветами, инструментом плодородия и воспроизводства. Я задохнулся. Пережил шок, истому, боль. Охнул. Успокоился. Звёздная радиация омывала мои тела.

Вот отпустило. Я отцвёл. Каждый из моих сочленов завязал в себе своё же геннореконструированное продолжение. Так что там говорила Йеэлль? Ещё одна конференция? Снова заявление учёного... Из оставшихся почек я развернул побеги моей вегетации и фолиосистему. Я раскрыл кроны на моих сочленах! Я – экодендрон!

Ох... С фолиосистемой я теперь чувствовал, как часто мелькает светотьма – средний диапазон радиационного спектра. Вот свет. Вот тьма. То тепло, то холод. Поток лучей, будоражащий и щекочущий. Отдохновение, вегетативный рост. Родная планетка бешено вертится, подставляя своей звезде бока. Всего пять-семь мельканий светотьмы, и моя фолиосистема окрепла. Я – экодендрон!

Экодендроны шумели, сотрясали своими мыслегласами всю Корнесферу. Живая Корнесфера дрожала и колыхалась, пересылая микроволнами наши мысли и чувства. После Большой Ночи мы радовались, будто не всего одну ночь, а сотни Больших Дней не общались. Как же! Ведь наша полоса, наша терразона проснулась! Хотя Эукалиптос, по-моему, и в самом деле счастлив. Он, правда, живёт в той терразоне, где радиация почти постоянна, а экодендроны не спят вообще. Ещё был Масличник. Он, как всегда, суетился и плоско шутил. Мы иначе и не зовём его, кроме как по сальному прозвищу. Жеманная Биттца вертелась над микроволнами чужих чувств и вечно мешала разговорам своим кокетством. Позже всех явился мыслеглас Вьязттополя.

Как ни странно, я не сержусь на Вьязттополя, хотя к нему и ушла моя Йеэлль. Вьязттополь – старый солдат. Он выстоял всю Войну, а я не держал да и не держу на него зла, потому что его мыслеглас всегда весел, общителен и много смеётся. Это не первая конференция после Войны. Корнесфера уже гудит от напряжения – микровибрацию я чувствовал даже макушками

моих крон. Все знали, о чём заявит сегодня Бваом-Бвунгх, и только удивлялись, почему учёный молчит вот уже более сорока Больших Дней. Экодендроны успели оценить его благородство – он давал своим оппонентам время на подготовку.

Бваом-Бвунгх наконец выступил. Ведущий специалист Джанглей, сверхдержавы Востока и Юга. Крупнейший умозрительный химик и исследователь неорганики. Он более сорока Больших Суток назад подвергся прямому физическому воздействию. С высоты, из нижних воздушных слоев, его опылили токсичными дефолиантами, в результате чего он утратил всю фоллиосистему до последнего листика. Химик еле выжил, а полностью оправился лишь на третий-четвёртый Большой День, с трудом развернув себе новые кроны. Он чудовищно истошал, поскольку более трёх Больших Суток был не в состоянии питаться звёздной радиацией, и в конце-концов физически утратил до тридцати пяти процентов сочленов своего организма. Случившееся он расценивал как покушение на его жизнь и обвинял в организации нападения сопротивленцев Дальней Еэуропбы, так и не признавших нового мирного договора.

Я буквально осязал, как над макушками наших крон пронеслись циклоны, гигантские вращающиеся воздушные массы. Мое дыхание ненадолго сбилось. Как оскорбление либо как провокация стали восприниматься в последние Сто Дней такие обвинения в предумышленном покушении. Мелькала светотьма – раз, другой, третий, циклоны неслись один за другим, и каждый последующий заметно тяжелел от паров влаги, исторгнутой листвой западных экодендронов.

Наконец, обвинение Бваом-Бвунгха было поддержано Большой Тайгкхой. Я только досадливо хмыкнул: сверхдержава Востока и Севера не бросала своих прежних союзников. Где-то уже обрушились ливневые потоки, где-то назрел избыток электрического потенциала и взорвались гиперразряды молний.

«Бваом-Бвунгх, ответьте! – это кто-то из Еэуропбы осмелился подать мыслеголос: – Что служило средством доставки дефолианта? Полагаю, у вас было время это определить. Циклоны нижних воздушных слоев? Пары грунтовых вод и речных водотоков?»

«Низшие, – у Бваом-Бвунгха непередаваемый акцент как у всех экодендронов Джанглей – он говорит очень влажно, душно, с какой-то колеблющейся дымкой в голосе. – Дефолианты были доставлены целенаправленной миграцией Низших».

Здесь Дальняя Еэуропба действительно умолкла. Я бы на их месте не позволил себе так явно выражать волнение. С севера шёл холодный фронт воздуха, а истерически исторгнутая листвой влага могла кристаллизироваться и больно ударить нам же по нашим фоллиосистемам. Я горько хохотнул. Надеюсь, этот мой мыслеглас уловили только мои ближайшие соседи. Наш регион – мы ведь входим в Ближнюю Еэуропбу – теперь старательно помалкивал в знак солидарности с метрополией.

«Бваом-Бвунгх, ответьте! Эти Низшие были „кольцованы“ либо иным образом помечены? Вы сумели определить источник их миграции?»

«Разумеется! – (Ах, как самодовольно влажен его голос! Я отчего-то равно недолюбливаю официальный истеблишмент как Тайгкхи и Джанглей, так и Еэуропбы). – Это миграционный поток Трансокеании. Низшие прибыли из северной зоны опеки сверхдержавы Ссейлвы-Аммосонкх».

Атмосферное затишье висело над континентом примерно шесть-семь мельканий светотьмы. От безветрия у меня даже затекли некоторые из моих сочленов. К счастью, скоро донеслось официальное совместное заявление Еэуропбы и Ссейлвы-Аммосонкх:

«Организованного воздействия на Низших с целью побудить их к насильственной миграции сверхдержавами Запада и Дальнего Запада не проводилось. Неконтролируемым группам сопротивленцев подобные биопланетарные технологии в настоящее время недоступны».

По-моему, на этом официальная часть конференции и кончилась. Экодендроны, по всей видимости, спокойно постановили, что с учёным произошёл несчастный случай. Нечто вроде самоинициативной активности Низших.

Мне тогда стало жаль старика. Я помнил, как до Войны держал перед ним экзамены. Я прямо к нему обратился и спросил его:

«Эти Низшие, почтенный Бваом-Бвунгх, были какого рода? Наверное, это бобвры?» – у нас в Еэурупбе (да и в северной Ссейлве) это самый неприятнейший тип Низших.

«Йизстрик? А-а, это ты... Я узнал твой мыслеглас в Корнесфере. Это были льюды, Йизстрик!»

«Льюды? – я растерялся как студент-любимчик, вдруг не сдавший зачёта. – Разве они уже способны к самоорганизации?»

«Так решили на конференции!» – сарказм Бваом-Бвунгха был столь влажен и душен, что я, наверное, не выжил бы с ним в одной терразоне.

Я и не вспомнил бы об этом заявлении старого химика – мало ли конференций было в послевоенные дни! – если бы в самый пик дневной жары этих же Больших Суток не случилась та мелкая досадная неприятность, которую часто зовут пожаром. Инфрасветовая активность, а проще говоря, тепловые лучи звёздной радиации, достигли предела силы. Послеутренние осадки и бесконечные циклоны иссякли, на полконтинента расселась масса с высоким давлением, почвы пересохли, и, как порой случается, загорелись торфяники.

Мой ближайший сосед Озсинникг от боли вопил по Корнесфере на весь мир. Залежь торфа горела прямо в его биозоне. Озсинникг был сам виноват, в жару он пересушил собственный грунт и доигрался, – но осязать Корнесферой его вопли не было мочи. Долгие мгновения – дюжину мельканий светотьмы! – торфяник полыхал по всему региону. Дым переполнил атмосферу, затянул всё небо и на половину скрыл нашу звезду с её пиковой дневной радиацией. Капризная Биттца страдала и задыхалась в дыму, моля нас сделать хоть что-нибудь. На какой-то миг Озсинникг даже потерял сознание: ветви с его фолиосистемой бессильно повисли. Горели его почвы, грибница-симбионт, верхние корни. Даже моя милая Йеэлль не выдержала и выкрикнула с самого Улралля, с предместий Тайгкхи, своим тенисто-свежим голосом:

«Спасите же, спасите его, наконец!»

Мы спасали. Мы усиленно тянули корнями грунтовую воду и отдавали её листвой в надежде, что в воздухе образуется клуб пара, и прольются осадки. К сожалению, даже в Джангльях ещё не знают, как мгновенно тушить пожары. А уж там-то, в благополучном обществе, где пожары сделались излишне частыми по причине, как я думаю, безответственности жизненно успешных экодендронов, в избытке имели возможность набраться опыта в пожаротушении. Торфяник угас сам собой. Озсинникг скоро оправился. Вот с этого времени экодендроны и стали поговаривать между собою, что отдельные микроочаги пожара, по слухам, якобы тушили маленькие шустрые льюды.

Послушав раз-другой своих соседей, из тех, что сами, по их словам, невооруженным умом наблюдали, как льюды самоинициативно гасят огни, я разыскал по Корнесфере Ввалдда, старого моего приятеля. Ранее, ещё прежде Войны, мы были крепко дружны, а сам Ввалдда служил тогда советником-представителем всей Ближней Еэурупбы. После Мира он, однако, отошёл от всех дел и стал до болезненности малообщителен. Мне показалось, что я порой улавливал его мыслегласы на последней конференции, и поэтому обратился к нему без предисловий:

«Что же? Ты теперь и в самом деле думаешь, что Низшие – разумны так же, как и мы?»

«Низшие? – Ввалддай прошелестел вяло, лениво и тенисто. Впрочем, не глухоманно, а, я бы даже сказал, по-заповедному ухоженно. Такие же нотки уже давно нездорово мелькают в голосе, например, у Биттцзы. – Какие именно? Бобвры? Зайтцы?»

«Разве бобвры гасят пожары?»

На самом деле Вваллдай пребывает в сильной зависимости от этих ллююды. Не до такой степени как невпопад хохочущая Биттца, но и эта зависимость, на мой взгляд, сродни галлюцинациоманной. Биологи убеждают, что ллююды как организмы зависят от мельканий светотьмы и, якобы, соотносят с ними свои биоциклы. Эти существа моносоматичны, они имеют всего по одному организму, живущему чрезвычайно недолго – редко более ста Больших Дней. Их теллумы – это примитивные тела, нерасчленимые даже на корни и ветви. Чаще всего у них по пяти псевдоветок: по две опорных, две орудийных и по одной цефалической с какими-то жизненно важными органами. Вваллдай исхитрился приучить к себе этих существ.

Существа возникали то в самой биозоне Ввалддая, то около неё. Они были биоактивны, жизнедеятельны, как-то влияли на экосистему. Ввалддая начал привлекать подобный симбиоз. Некоторые экодендроны из традиционалистов из-за этого стали обходить стороной его мыслеглас в Корнесфере. Мне кажется, Вваллдай своего добился: с ним перестали разговаривать о Войне и предвоенной политике. Ллююды управляют его сочленами: какие-то удаляют и сносят, какие-то подсаживают и приживляют. Вваллдай раз выговорился мне, что среди молодых и активно вегетирующих сочленов эти ллююды, якобы, освобождают ему грунт от паразитарного подлеска. Особенно заботливы они, по его словам, в той микротерраzone, где грунтовые воды прорвались в мегапоток Воолгкха... Мне это противно. Какое-то в этом есть извращение, и скоро Вваллдай станет таким же как Хабрикосс или Масличник. Впрочем, раньше такой сделается красotka Биттца – ей, бедняжке, приходится жить возле их термидтника, прямо в крупнейшем обиталище этих существ.

«Так что же это, Вваллдай, объясни мне? Это высшая дрессура – приманивать к себе ллююды и позволять им коверкать свой организм? – сознаю, я был излишне резок со старым приятелем. – Может, ллююды теперь таким образом самоактивизируются?» – щадя его, я подсказал ему ответ на мой нетактичный вопрос.

«Ллююды не идут на информационно-чувственный контакт с экодендронами, если ты спрашиваешь меня об этом, – мыслеглас у Ввалддая такой, будто ему вечно щекотно от истекающей из грунтовых вод Воолгкхи. – Если хочешь больше узнать о ллююды, то прямо спроси о них у Хабрикосса или у Масличника».

Мне стало стыдно за свои слишком громкие мысли. Я не ожидал, что Корнесфера уловит их и передаст так подробно. Мне пришлось развивать тему и объясняться:

«Хабрикосс и Масличник первыми позволили этим существам сменить себе все сочлены на мало акклиматизированные, хрупкие и слабые. Раньше всех – когда Война ещё только началась! Теперь сочлены у них стоят рядочками, стволы вульгарно побелены, а ллююды разгуливают в них целыми стаями и... и... – я преодолел правила приличия, этот последний остаток довоенного воспитания, и закончил мысль: – Собирают с них плоды. Развешивать напоказ, на каждой ветви, свои... свои...»

«Йизстрик! Да ты ханжа и моралист, как все мелколиственные! – расхохотался мыслеглас Ввалддая. – Ты не презираешь, ты просто побаиваешься плодовых. Это симбиоз, Йизстрик, обыкновенный симбиоз!»

Я не стал продолжать разговор с Вваллдаем. Я бы не хотел, чтобы таким симбионтом вдруг сделалась глупенькая Биттца. А тем более Йеэлль с её независимым характером и аналитическим умом. Хотя... Йеэлль как-то обмолвилась... Некоторой своей частью она уже произрастает в каких-то «линейных посадках» молодых елей и сосен. В Войну я тоже утратил все свои дуббы, заменил их берреззой, оссиной, но на этом успокоился.

«Эй, эй!» – кто-то звал меня по Корнесфере. Я сразу узнал мыслеглас Вязттополя и внутренне вздрогнул. Я не хотел говорить с ним именно сейчас, когда я разволновался, и мои мысли лежали открытые, как на поверхности листа. Наверное, я ревновал к Вязттополю. Ревновал, что его, а не меня предпочла Йеэлль, что готова принять в себя не мои, а его частицы, и что теперь его, Вязттополя, семена, пахнущие асфальтом и угарным газом, летят над макушками

моих крон в циклонах, чтобы упасть в почву на Улралле и прорасти в Йеэлли. Тогда они смогут понимать и чувствовать друг друга без Корнесферы...

«Здорово, друг», – я прятал подлинные мои мысли за радушием так же, как шум ветра прячется за шорохом листвы на ветвях.

«Мне послышалось – или ты всерьёз заинтересовался Низшими?»

«Не всеми, – я вяло оправдывался, – а только теми из них, что стали сверху распылять дефолианты».

«Ха! – Вязттополь нервно хохотнул. – А может, Низшие, как и мы, между собой воюют. Одни затаиваются под фолиосистемой, другие их отлавливают и распыляют дефолианты. Каково тебе? Впрочем, тебя не удивишь, ты же работаешь на Тайгкху!...»

«Сюжет для мыслетриллера в жанре бредоабсурда», – так я прокомментировал.

«На Тайгкху, на победителя! – Вязттополь не унимался. – Спроси же у них про ллюдьи, они тебе расскажут! – Без всякой моей провокации его прорвало на откровенность: – Как я ненавижу этих мелких, отвратительных Низших существ! Они ворвались в меня как полчища бобвров и термидтов, сгубили и уничтожили мои дуббравы и сосны. Они насадили во мне топполя и вяззы, чтобы им легко дышалось в пыльной тени. Еле живой, я смог прорасти в этих насаждениях, я живу среди этих существ, а они нагородили во мне и вокруг меня свои каменные обиталища. Я – бывший вольнорастущий смешанный бор! – сделался рабом даже большим, чем Хабрикосс, который публично занимается плодоношением! – (Меня покорила солдатская грубость Вязттополя, но я стерпел). – Эти подсадки, побелки, подкормка – я же целиком завишу от них, а они, они каждую Большую Ночь нарочно подмешивают в кристаллический наст соли и реагенты, чтобы я по утрам травился ими».

«Ты только успокойся, Вязттополь. И не испаряй столько влаги, – передал я ему как можно теплее и примирительнее. – От твоей влаги скоро из воздуха пройдут осадки. А я всего лишь спросил, могут ли некоторые Низшие быть так же разумны как и мы, экодендроны».

Вязттополь, по-моему, уже не мог успокоиться. В его сыром голосе стоял, кажется, запах гудрона и раскалённого асфальта:

«О да, ллюдьи разумны, как мы, это же видно невооруженным умом! Их обиталища менее функциональны, чем термидтники, сменные покровные ткани менее надёжны, чем раковины отщельников, а псевдосоциальная организация размыта и расплывчата в сравнении с пчелиным ульем – всё это несомненные признаки разумности, кто бы с этим спорил, только не я! Чувствуешь меня, Йизстрик? Я же не издеваюсь. Экодендроны не строят обиталищ, поэтому мы и способны на взаимодействие и взаимочувствование. Ллюдьи – почти как мы: лишены жёсткой системы, что могла бы ограничить их поведение, они потрясающе разумны нам на горе... Но, Йизстрик, поразмысли, существа, которые живут всего сто Больших Дней, разве дотянут умом хотя бы до зачаточного интеллекта экодендрона-проростка?»

Большой День явно клонился к вечеру. Жара спадала. В мелькании светотьмы звезда поднималась каждый раз всё ниже и ниже, а тепловая часть её радиации казалась ослабевшей, остывшей, грустной.

«Знаешь, – Вязттополь замешкался, – я порой слежу за ними. Ну, как бы наблюдаю. Поверишь? Их мельтешение, оказывается не так хаотично, как у пылинок в воздухе. Одни и те же особи регулярно шустрят при свете на один конец обиталища, а ближе к тьме – на другой, и так пять мельканий светотьмы подряд, и всё строго, целенаправленно. После ещё два мелькания движутся беспорядочно, как им придётся, и снова пять мельканий светотьмы – упорядоченно, в одну и ту же микрону. Что бы это означало, а, Йизстрик?»

«Наверное, жёсткая система инстинктов, – я поспешил его успокоить. – Ты был прав. Низшие – вряд ли разумны».

К вечеру усилились циклические токи воздуха, которые мы зовём ветрами. Что ж, я, кажется, обильно прирос – и в высоту, и территориально – за этот очередной никчёмный Боль-

шой День, потонувший в разговорах. Я спохватился, что не выполнил предписанную на сегодня норму – я же по-прежнему работал на Тайгкху в её, так называемом, «транспортновочном корпусе». Не тратя больше времени, я что было сил вытянул максимум воды из почвенного грунта со всеми ионами и минеральными солями и отдал её через листву в воздух – всю, без остатка. Я ловко воспользовался ветром: циклон подхватил эту почвенную геобиохимию и унёс на восток, в Тайгкху. Я позлорадствовал – созерцательным учёным Тайгкхи надолго хватит пищи для размышлений о причинах столь резкого колебания химического состава почв и воздуха Ближней Еэуропбы.

Транспортновочная работа – скучна. Считается, что попутно можно заниматься наукой и делать открытия в физике, созерцая течение грунтовых вод и умозрительно моделируя процессы вязкости, текучести и летучести паров. Наша наука умозрительна, отвлечённа и созерцательна. Так работают все экодендроны, хотя каждому из нас более всего на свете интересны ллююдьи и только ллююдьи. Просто мы не догадываемся в этом самом себе признаться.

Я признался. Но только одной Йеэлли. Иногда Йеээль хорошо меня понимает. Она знает, что по вечерам я лщу себя мыслью о собственном великом открытии. Звёздная радиация угасала, я плодоносил. Вздох – и семечки моих беррезз и оссинн схвачены циклоническим током воздуха и унесены прочь. Я бы, конечно, мечтал, чтобы мои частицы улетали на Улралль, к Йеэлли. Умница Йеээль уловила моё настроение и ловко вышла из ситуации. Она связала меня с Кьедрпихтхом. Своим голоском, чуть колким, как у всех хвойных, студёно-тенистым и вечнозеленым, Йеээль объяснила: Кьедрпихтх – глава её ведомства. Он почётнейший учёный во всей созерцательной биологии и специализируется на Низших, особенно – на осмыслении существ ллююдьи. Йеээль твёрдо посоветовала мне накопить побольше материала, прежде чем заняться самостоятельным созерцанием.

Гм... Честно говоря, этот её величайший мыслитель пересказал мне то, что и так известно среди экодендронов любому младенцу-проростку.

У Кьедрпихтха был очень колкий и сыпучий мыслеглас – как сброшенная хвоя. Даже тон и тембр были горько-сладкие, с характерным смолистым вкусом и запахом. Кьедрпихтх оказался настолько стар, что отчётливо помнил расцвет «Ледникового периода» – так специалистами зовётся эра глобальной кристаллизации вод. Экодендроны в то время воздействовали на среду, чтобы изменить её климат на благоприятный. Они насыщали почву азотом и тяжёлыми элементами, воздух – кислородом и озоном, их листья не отражали, а поглощали звёздную радиационную энергию, чтобы, лежа на грунте, возвращать земле накопленные калории.

«О! – восклицал теперь Кьедрпихтх. – Это был эпохальный проект, работа всех времён и эр!» Результат превзошёл ожидания: климат так изменился, что кристаллический панцирь полностью расплавился. Обнажение земляного грунта дало незапланированный побочный эффект: активизировались Низшие, тела которых способны питаться лишь готовой органикой, а заметнее всех выделились те из них, кого мы называем теперь «ллююдьи». В ту пору мы даже посчитали их полезными: организуя своё питание, эти существа, сокращали численность вредных бобвров и зайтцев.

За несколько тысяч Больших Суток до мировой Войны, когда уже сформировались пять наших сверхдержав – Тайгкха, Джангъли, Авфхрика, Еэуропба и Ссейлва-Аммосонкх, – правительства Тайгкхи и Джангълей стали готовить существ ллююдьи к использованию в военном проекте. Кьедрпихтх, рассказывая об этом, так густо зашуршал мыслегласом, что я заронил в себя семя подозрения: не он ли сам, первоклассный биолог и геобиохимик, был генеральным биоконструктором проекта. В начале Войны экодендроны востока за несколько Больших Десятидневок так радикально изменили климат своих терразон, что пересохли грунтовые воды и реки. Не вынеся условий засухи, ллююдьи потекли своей биомассой через весь континент на запад, во влажные терразоны. Это событие мы до сих пор зовём Великим Трансрайонированием Низших из Аозсии в Еэуропбу и далее в Авфхрику.

Биологическое оружие было эффективным. Трансрайонированные льюдды организовывали жизненную среду, несовместимую с иными биоформами. Менялись целые ландшафты. Экодендроны запада гибли целыми террарегионами. Выжившие, как Вязттополь и Биттца, оказались скованными термидтниками из асфальта, камня и брикетов обожжённой глины. К концу Войны социальная система экодендронов Еэуропбы и Северной Авфхрики была деструктурирована. К несчастью, этот процесс стал неконтролируемым. В последние двести-триста Больших Дней биомасса льюдды по причинам внутренней избыточности принялась «рикошетить» по терразонам Глубинной Авфхрики, а после по Джанглям, Тайгкхе и Ссейлве. Возвратная реколонизация существ льюдды привела к катастрофе и к распространению биосреды Низших на все без исключения терразоны планеты.

В сложившейся ситуации победители первыми предложили Мир и стабилизацию климата планеты. Мирный Договор действует уже почти сто Больших Дней. До стабилизации планетарного климата ещё далеко. Идёт подготовительная стадия, и заметны лишь судорожные скачкообразные колебания температур, внезапные образования тайфунов и обильные непредсказуемые вьюги из замёрзших частиц влаги. До сих пор самопроизвольно возобновляются точечные удары подвижных масс льюдды по целым биорегионам, причём как в Тайгкхе и Джанглях, так и в нейтральной Ссейлве.

Уловив момент, я выспросил у Кьедрпихтха, кто именно изучает сегодня причины самоактивации существ льюдды.

«Эта информация полезна для темы моего исследования», – добавил я сходу, хотя на самом деле гипотеза, как свежая тема моих будущих созерцаний, взбрела мне на ум в эти самые мгновения. По вечерам, после рабочего дня, я вообще на диво талантлив и подаю незаурядные надежды!

Мыслеглас маэстро Кьедрпихтха потянул время, демонстрируя значимость, потом сообщил мне имя Зекфоййи, мыслителя из Ссейлвы-Аммозсонкх и видного «биоматематика». Никогда не слышал о такой науке. Не скрою, я был удивлен. Я еле дождался вечера, чтобы начать проверять те мысли, что пришли мне на ум во время разговора.

Когда сделалось прохладно, а мои стволы и ветви с избытком накопили глюкозы, когда моя фолиосистема высохла и пожухла, а черешки листьев здорово зудели, готовые обломиться, тогда я связался с учёным Зекфоййей. В его полушарии – в Центральной Ссейлве – теперь как раз начиналось утро. Связь через океан была ужасной, в Корнесфере царили шумы и помехи, но Зекфоййя сменил гнев на милость, когда я назвался работником Кьедрпихтха и бывшим аспирантом Бваом-Бвунгха. После дюжины моих комплиментов его учёному авторитету Зекфоййя был склонен болтать, по-моему, до самого полудня его полушария.

«Биоматематика – это прорыв в фундаментальной науке! – сообщал он мне с потрясающим акцентом, интонации которого сочно похрустывали как мясистые листья суккулентов. – Впервые в науке экодендронов мы идём на эксперимент, то есть на попытку информационного обмена с иной природой. Мы транслируем существам льюдды математические последовательности и надеемся рано или поздно наблюдать их реакцию. Активный отклик на геометрические соотношения, логарифмические зависимости, прогрессии и число „П“ был бы косвенным признаком их интеллекта».

«Подлинный интеллект, – уверял меня Зекфоййя, – распознает наши трансляции в векторах движения циклонов, в прогрессиях ветра, в пропорциональности антициклонов. Мы формируем погодные условия. Наш проект запустил перманентные пассаты и муссоны. Циклоны на терразонах Еэуропбы движутся параллельно и сонаправленно. В их периодичности сокрыты математические закономерности, выраженные двоичными, десятичными и шестнадцатеричными системами счёта. С помощью Тайгкхи и Джанглей мы добились пульсации объёмов солёных озёр континента. Кхазспий и Ааррал теперь мелеют и снова заполняются водой с цик-

лами в два либо в три периода по 365,25 Больших Дней. Вы же понимаете значимость этого числа для льюдьи: столько мельканий светотьмы включают в себя одни Большие Сутки».

«Неужели у льюдьи десятичная система исчисления? – я оценил их находчивость. – Видимо, по числу их орудийных псевдоветочек?»

«Вы мыслите в верном направлении! – похвалил Зекфойя. – Но должен вас разочаровать, хоть вы и ученик Бваом-Бвунгха. Никакой осмысленной реакции со стороны льюдьи за три тысячи Больших Дней наблюдения не последовало. Одно время мы всерьёз полагали, что их ответ – это пульсирующая озоновая дыра. У неё, знаете ли, правильные пропорции, основанные на числе „П“, и тенденции к переменному росту и уменьшению. Но, увы, озоновая дыра оказалась лишь побочным результатом их бессознательной деятельности».

В поздний холодный вечер я, наконец, сбросил отслужившую фолиосистему. Обезвоженная листва пала на грунт, чтобы Большой Ночью мне и моим корням было тепло. К утру мой грунт станет от листвы только слаще. Кстати сказать, старый биоматематик не подтвердил и не опроверг мою бредовую гипотезу. Мысль, что взбрела мне на ум этим вечером, уже не отпускала меня. Низшие несомненно склонны к самоорганизации, а льюдьи вообще во многом похожи на нас. Они редко целеустремлённы, часто хаотичны в поступках, импульсивны в мелочах, безответственны в важном, анархичны во внутривидовом устройстве – словом, как мы, экодендроны.

Старик Зекфойя и его школа ошибаются. Здоровый разум и не должен реагировать на абстрактные прямые и векторы... Овальная озоновая дыра действительно была осмысленным ответом... Я уже засыпал, размышляя об этом сам с собою.

Внезапно разбуженный, я нашёл внутри себя, в самой моей биозоне, одного из льюдьи. Он находился во мне уже несколько мельканий светотьмы, что, по их меркам времени, довольно долго. Льюдьи производил шум. Я имею в виду те резкие колебания воздуха, за миг до которых он вскидывал свои псевдоветви и чем-то грохотал. Остро пахло продуктами горения селитры. После этого кусочки металла вонзались в некоторые мои тела. Было больно. На вкус я определил, что это – свинец. Целые стаи Низших, хлопоча, взлетали с ближайшего пруда. Я подумал: льюдьи привлекает к себе мое внимание?

Я стал наблюдать за ним. В чём-то я понимаю Вяззтополя – следить за ними интересней, чем за мурраувьями. Существа льюдьи, как установили учёные, двудомны наподобие тел облепихи. Этот, по-моему, ещё не имел завязей, следовательно, был мужской особью. Он сходу отсёк от моего тела четыре опоры и шустро соорудил на них колеблюмое на ветру жилище. Я не успел даже понять, чем и как он отсекал эти опоры – кальциевыми дентиновыми выростами, как делают бобвры, или псевдоорганическим образованием вроде «бензплы-држба».

Много суетясь и по-прежнему грохоча, льюдьи двигался по моей биозоне кругами. В мгновения тьмы он усаживался на одном месте и огнём прожигал в траве овальные либо эллиптические прожоги. Позже льюдьи пропал. Как уллитдка, он утащил на себе своё жилище, но прежде закинул в мой подлесок те самые три опоры и ещё обломок четвертой. Обломок, как я заметил, составлял примерно одну седьмую своей прежней длины. Я думал... Я же сообщал, что по вечерам я поразительно догадлив... Меня осенило: я наблюдал круги, овалы и эллипсы, а этот льюдьи оставил мне число «П» – 3 целых опоры и ещё почти 141 тысячную!

Я успел пометить, «окольцевать», контактёра-льюдьи семечками моих беррезз. Как я и предположил, он отправился на восток, в Мозскту, ближайший мегатермидтник. Несколько Больших Дней назад особи этого термидтника соорудили на части моей биозоны свои жилища и высадили непристойные плодовые деревья. Если сегодняшняя особь действительно контактёр, то он появится среди этих жилищ и завтрашней весной. Я буду снова наблюдать за ним, я его запомнил.

Полагаю, теперь я могу сформулировать мою гипотезу. Завтра, весной, я, скорее всего, буду снова ленив и безынициативен, а сейчас – сейчас мой вечер. Я полагаю, что Низшие – это начальный этап эволюции. Сотни эпох назад, наверное, уже жила цивилизация интеллектуальных Низших. Она перестроила свой мир под себя, породила Корнесферу – способ эмоционально-рассудочного взаимообщения – и эволюционировала в Высших, в нас, экодендронов, существ полисоматичных, многотелесных. Я успел осмыслить всё это и снова заснуть, сладко передумывая вновь и вновь мою занимательную догадку. Завтра я, пожалуй, расскажу ее Йеэлли...

Посреди Большой Ночи я на мгновение опять был грубо разбужен юркими существами льюды. На сей раз это оказалась целая стайка из полутора десятка шустрых молодых особей. Я прикинул: им было не более 15—20 Больших Дней отроду. Спросонья я соображал туго: сокодвижение в моих телах прекратилось, а холодный наст – ночная кристаллизованная влага – сковал мою биотерриторию, комьями висел на системе вегетации и мешал сосредоточиться. Я только отметил, что юные особи заскочили в мою биозону как раз со стороны тех самых новых минитермидтников.

Сначала я полагал, что существа просто резвились. Подобное происходило теперь каждую полночь, и я даже подумывал, что это их ритуал вроде брачного роения оос и пбчелл. Не понимаю только, зачем для роения им всегда требуется один из моих сочленов – молодая, но крепкая ель. В этот раз существа сцепились псевдоветвями и краткую долю мгновения бешено вились вокруг одной такой ели.

– Снвымгодм! – воздух резко заколебался от их выкриков, после чего существа пропали.

Учёные говорят, что льюды общаются между собой простыми акустическими сигналами. Тогда что это было – «снвымгодм»? Их самоназвание? На кристаллическом настe остались их чёткие отпечатки, образующие правильную, идеальной формы окружность. Мой разум легко различал её геометрическую гармонию, почти постоянный радиус, число «П» в длине цепочки следов. Кажется, ритуал оказался ещё одной попыткой контакта.

Уже засыпая, я твёрдо решил, что завтра, едва начнется весна, я пожертвую своими принципами и прорасту на прежней моей территории среди жилищ льюды. В этих садах, на этих неприличных плодовых деревьях, на этих яблоннях я буду плодоносить всеми своими новыми ветвями. Я уже решил: я принесу им 31415 плодов яблонни! Число «П», помноженное на десять тысяч. Если они подлинно разумны, если догадка моя хоть в чём-то справедлива, то они, льюды, непременно сложат плоды вместе и сосчитают!

Это будет наш первый осознанный инфоконтакт. Вот только интересно... А способны ли льюды к такому же взаимодействию между собой как мы, экодендроны.

Зверьяница и рябиновый цвет

«...Здравствуй, путник! Доводилось ли тебе идти, не жалея ног, за путеводной звездой всё дальше, мимо старых лесов и усталых рек? Ты мог обойти всю землю, дойти до края мира и взобраться на Хрустальную гору, чтобы с её высоты осмотреть торговые города, рыбацьи посёлки и страны мирных земледельцев, чьи цари живут в термах из неотёсанных брёвен.

Странник, ты бы удивился, когда Хрустальная гора вдруг оказалась бы небом, опрокинутым над землёй как перевёрнутая чашка? Знаю, что удивился бы, знаю. Я знаю многое...

Ты обитаешь внизу, ты смотришь вверх, на небо с его облаками и звёздами. Ты гадаешь, с какой ноги встали сегодня Солнце и Ветер. Тебе важно знать настроение Стихий, ведь так ты пытаешься угадать погоду. Открыть тебе тайну? На взгляд Природных Стихий, всё, о чём вы заботитесь, это лишь урожай сам-пятый, добрый улов рыбы да успех в хлебной торговле. У вас нет ни жарких страстей, ни кипучих порывов, ни трепетных мечтаний.

Рассказать ли тебе? Рассказать тебе, путник, что случается в царстве Стихий, когда закипают подлинные страсти и тревобления? Узнай, как могут потрясти вселенную настоящие, сильные, полновесные чувства!...»

I

У царя Всеведа огненно-золотые космы, а борода – густая и чёрная-пречёрная. Правда, щёки его круглы и одутловаты, а чело исчеркано морщинками.

«Хму-урыми такими морщинками...», – решила Прeya. Она внимательно изучала отца. У Преи, как всегда, гордая осанка и царственное округлое лицо. Это у неё в отца. Слепительная Прeya сегодня старательно показывала неудовольствие, брезгливо держа свои полноватые губки.

На вершине небосвода, высоко в золотых чертогах, Всевед принимал единственную замужнюю дочь. Её, солнечную Прею, окружали полудницы – облачные девы в белых, как лебединый пух, накидках. Но сегодня служанки-полудницы явно напуганы. Всевед насторожился, его чёрная борода встопорщилась тучей.

– Рассказывай, – он приказал, грозно упирая в бока руки. – Ну, и как вы живёте?

«Держись теперь, муженёк!» – солнечная Прeya победно оглянулась на того, кто топтался за её спиной.

– А хорошо, что ты сам об этом спросил, отец! Да, есть причина пожаловаться. Мой Месяц со мною холоден! – сообщила она так, будто что-то от отца требовала.

– Как ты сказала? – прогромыхал бас Всеведа.

В его золотых чертогах всегда обилие домочадцев, а теперь они попрятались – как обычно, когда Всевед начинает гневаться. Ветры, падучие звёзды, радуги, планеты – никто не хочет попасть ему под горячую руку. А Прeya, она же Дива-Солнце, она же юная Весна и зрелое Лето, зябко передёрнула плечиком и опять презрительно бросила:

– Мой Месяц со мною холоден, ты это слышал. Он – невнимательный муж и непылкий любовник. Отец, ну, разве он пара мне – Солнцу?

– Разве! Что значит – разве? – Всевед пророкотал тихо, как далёкий гром. – Это я, что ли, выбирал тебе мужа, а?! Дива? – его плащ на миг распахнулся, на поясе блеснул Молния-меч, девы-полудницы из Солнцевой свиты сбились в испуганную стайку. – Что это – разве, а? – рокотал Всевед. – Ты сама отыскала этого пастуха! Я ли не прочил тебя за Вихря Вихревича? Вихрь – силен, Вихрь – могуч. Не вороти нос, когда я с тобой разговариваю! Пастух, видите ли, сыграл тебе что-то на дудочке! – Всевед потихоньку свирепел.

Месяц, молодой зять Всеведа, стоял, втянув голову в плечи. Ну да, он был простым пастухом. Что с того? Когда он пас тучных коров, златорунных овнов и кобылиц из небесного стада, он играл сам себе на свирели. А Дива-Солнце подошла и сказала: «Хочешь быть со мной, музыкант? Возьми меня! Я хочу, чтобы ты любил меня». Ненаглядной Красоте не откажешь. Ясный Месяц и мечтать-то не смел, чтобы его полюбила сама Дива-Прея – Красное Солнце.

– Он изменил мне, – припомнила Дива. – Правда, всего только раз.

Всевед поперхнулся, но тут же опомнился:

– Да как он посмел?! – выкрикнул.

Вот – опять кругом пророкотало. Ветры и полудницы затаились по углам. Гулкие громы – слуги Всеведа – побежали, топоча сапогами, по всему чертогу. На земле, должно быть, в этот час затаилась буря, вот-вот она вырвется на свободу и разразится сокрушающей грозой.

Свет-Сокол Месяц приготовился к худшему. Он осторожно снял с головы подаренный тестем двурогий венец. Положил его на пол. Туда же сложил плащ – весь синий и в частых звёздах. Одно неловкое слово – и тестюшка Всевед, если не схватится за меч Молнию, то просто вышвырнет его в три шеи обратно к коровам. Сокол-Месяц преданными глазами поглядел на Солнце: может, ещё простит, передумает на него жаловаться? Эх, всё-таки краше её, такой любимой, по всему небосводу не сыщешь.

– Ты не спрашиваешь, с кем он мне изменил? – Дива как будто приговорила его ледяным голосом. – С моей полудницей!

– С бледной звёздочкой Зверяницей! – выскочила из свиты другая полудница, румяная и завистливая Дневница.

– Пошли вон отсюда! – гром прогремел прямо здесь, во дворце. С маковок посыпалась смальта. Это Всевед сгрёб Светлого Сокола за шиворот: – Я ж тебя, ничтожного, на куски изрублю, – меч Молния сам собою полез из ножен, – я ж куски твои по земле раскидаю. Меча моего захотел испробовать?! Навек останешься, Месяц, косым и щербатым! Дочерью клянусь: быть тебе изрубленным моим мечом Молнией!

Хрустальные двери от крика Всеведа со звоном пораспахивались. Всевед поволок несопротивлявшегося Месяца.

– Прочь отсюда! – ревел он, топая ногами. От его топота хрустальный пол жалобно звякнул и побежал трещинками, посыпался вниз, на далёкую землю, крупным кристалльным градом. В полу зазияла дыра над бездной. Всевед поднял зятя за шиворот.

– Папочка, не надо, не делай этого! – опомнилась Дива, Прея, Жива, Солнце – ой, как много имён у Стихий. – Я же люблю, я всё равно люблю его! – поздно же, поздно спохватилась Царевна. Папочка-то царь гневлив и скор на расправу. Разве забыла?

– Ааааахх! – Ясен-Свет Сокол-Месяц рухнул в пропасть, и кругом него засвистела бездна.

Дива-Прея ещё хватала отца за руки, стонала и каталась по полу. Её царственная алая накидка зарей-облаком соскользнула в пропасть, к людям. Всевед затопал на дочь ногами:

– Замолчи, ты глупая, дерзкая, непокорная! Ты – сво-е-воль-ни-ца! Я же говорил тебе: ты лучше бы Вихря, самого бы Вихря полюбила! А на этого Пастуха плюнь! Забудь!

– Да что ты понимаешь-то? Что ты наделал-то, а? – кричала на отца Солнце. – Мы сами с ним разберёмся. Без тебя!

– Ах, сами! – Всевед сгоряча ухватил дочь за косы, Прея взвизгнула. – Вот сами и разбирайтесь! – он выкрикнул и спихнул её в ту самую бездну.

Из пропасти долетели крики и эхо. Царь распрямылся – злой, страшный. Чёрная борода всклокочена, огненные волосы торчком. Окинул полудниц взглядом, зыркнул на звёзд и ветров.

– Кто ещё захотел?

Из стайки полудниц выскочила испуганная Зверяница – та самая, бледненькая звёздочка в лебединой накидочке, и очертя голову ринулась вниз с небосвода.

– Соко-олик Я-я-ясный!... – тоненько заструился её крик где-то над облаками.

Всевед мрачно потеревил бороду и погрозил в провал над бездной:

– Кем, падая до земли, себя почувствуете, тем на земле и окажетесь! – заклил вдогонку. Полудницы боязливо переглянулись. – Дневница! – окликнул Всевед. Румяная полудница вздрогнула. – Яблочек золотых им сбрось на дорогу, – буркнул, ни на кого не глядя.

– Всем троим, что ли, по яблоку? – Дневница презрительно подняла брови... и прикусила язык. Грозного царя два раза не переспрашивают.

«...Ты быстро ушёл от меня, путник. Не страшно! Рассказывать я могу любому. Мне неважно, где он – на земле или в небе. Для меня почти нет высот и расстояний. Крестьянин, эй! Смотри, смотри скорее! Эх, проглядел. Ты не увидел, как Месяц падает с неба...»

Ясный Свет Месяц летел, кружась и кувыркаясь. Бескрайняя Синяя Вселенная вертелась и неслась навстречу. Синие небесные моря, в которые кто ни попади – песчинка, синие дремучие леса, в которых кто ни окажись – крошка. Всё летело, стремилось, несло мимо, презирая его – карлика. Будто подгоняя его, били ему вслед громы и молнии.

– Довольно, хватит уже, – молил на лету Месяц. – Я и сам стал как кусочек молнии. Я – крошка, песчинка, карлик. Я – крошка-молния! – кричал он, взмахивая руками.

«...Ты ещё не забыл те времена, крестьянин, когда Месяц и Солнце гуляли по небосводу и светлым днём, и тёмной ночью рука об руку? Звёзды им верно служили, а облачные небесные стада мирно доились, питая благодатным дождём всё живое...»

Теперь Дива-Прея Красное Солнце глотала злые слёзы, проносясь через облака. Ой, как обидно, как сурово обошёлся с ней батюшка. А вот и не заплачет! От гордости, вот, не заплачет!

– Я – дочь Грозного царя, дочь Морского владыки, я – Дива Моревна. Старушка земля не посмеет меня больно ударить! Всякое море, река, пруд и болото – мне слуга и опора. Аааааа, – Дива Моревна перевернулась в воздухе и успела разглядеть свои ноги, оборотившиеся вдруг плоскими лапами. – Батюшка! – визгливо взмолилась. – Ну, вот так-то сурово зачем!? – уже и не слова, а отвратительный нечеловеческий крик вырвался из её горла.

«...В эту небывалую грозу вы, люди, попрятались по жилищам и испугано прижались друг к другу. Занятный вы народ – всё самое любопытное пропустили, хотя после горячо клялись, будто бы сами видали, как в бурю сорвались с неба месяц, солнце, а с ними одна звёздочка – вечерняя зорька, зверяница...»

Зорьке-Зверянице было страшно и холодно. Буря несла её не туда, куда упал Ясный Месяц. Ветры влекли её в страну, где стояла зима и где полуднице, облачной русалке, станет студёно и одиноко. Как же ей быть? Она-то, бедняжка, мокрому дождичку и ручейку родная сестричка.

– Мне холодно... Я рассыпалась, я расточилась на самые мелкие капельки. Я – как дождик. Мёрзну, я очень мёрзну... и хочу спать. Нет, я не дождик, я – снежок. Снег мягкий и белый... как лебяжья перинка...

Гроза иссякла. Небесные хляби закрылись, а люди вернулись к своим занятиям. Светлыми жаркими днями в небе висела дымка, за которой не было солнца, а ночи теперь стояли свежие, ясные, звёздные – и безлунные.

«...Здравствуй, рыболов. Ты плетёшь сети, чтобы ловить рыбу. Я тоже плету моё кружево. К моим пальцам сходятся тысячи нитей человеческих судеб. Я и есть Судьба.

Рыбак, ты видишь, как по синему небу, словно по морю, плывёт корабль. Не видишь? Просто корабль кажется тебе простым облаком. А гребцам того корабля хорошо видно, как живёт у излучины земного моря твой рыбацкий посёлок. В первом от моря домишке тридцать лет и ещё три года живут старик со старухой. Ты их знаешь, ты им сосед.

Той, кого вы зовёте «старухой» всего-то лет сорок восемь, а её «старику» – лишь какие-то пятьдесят. Выносливые, полные сил люди. Но на морском ветру лица скорее старятся, ты это и по себе знаешь...»

Соседи-рыбаки до хрипоты спорили, как же это привалило старикам неожиданное чудо. Уверяли, что старуха рубила капусту да ножом сама себе оттяпала палец-мизинец. Из мизинца, якобы, и родился чудо-младенец. Другие клялись, что не из мизинца, а из кочерыжки, случайно брошенной назад, в капустное поле. А местная знахарка поворожила и донесла, что старуха сеяла горох, но одна горошина укатилась под поленицу дров, вот из полена-то от гороха дитя и народилось, а звать это дитя теперь Покатигорошек.

Только старики знали правду, да помалкивали. В ту грозу в их огород ударила молния и едва не убила самого старика и привязанную поодаль белую козу. Белая коза от гари сделалась чёрной, а старуха раньше всех опомнилась и кинулась искать «молнийку» – наконецник пущенной с неба стрелы. Стрела обязана была подарить им удачу, но вместо неё отыскался почему-то младенец – крохотный, всего с пальчик ростом, который не плакал, но зато весь светился как молния.

– Как молнийка, – умилился старик. – Крошка-молния.

– Ма-аленький, – пожалела старуха. – Мальчик-с-пальчик.

Рядом с младенчиком лежало горящее как жар золотое яблочко. Старуха потрогала его и опалила себе тот самый злополучный мизинец. Поохав, подобрала яблоко платочком и спрятала.

– Вот и хорошо, – суетился старик, – вот и хорошо. Научим сыночка обманывать господ и воровать лошадей. Он же в любой замочек просунется – удачлив и счастлив у нас будет...

«... Удачлив и счастлив, прямо так и сказал. Слышишь, рыболов? Нет, ты не слышишь. Ты и не рыболов, а горожанин-купец. Пожалуйста – я поведу мою историю иначе, ведь я – Судьба, мне по сердцу плести нити.

Я не смеюсь, торговец! Просто у меня такой голос. Смотри лучше на небо. Видишь, как в его хрустальных сводах растёт ледяной город? Нет, ты не видишь. Город кажется тебе снеговой тучей, так устроены глаза у земных жителей. А обитатели ледяного города видят, как в похожем городке на земле живут молодые жена с мужем.

Прожили они бок о бок полжизни, а детей всё не имеют. Совсем молодыми, совсем юными их поженили, а вот уже и женищине исполнилось тридцать, да её мужу через полгода тридцать два станет...»

– Уже не называться молодкой, уже не гулять в хороводах, не петь с девками песен, – так грустилось молодой женщине, когда за окнами падал снег. Грустно ей, когда своих деток всё нет, а чужие кричат на улице.

Высочила она из дому, гоня от себя слёзы, и стала гладить выпавший снег – он такой лёгкий, пушистый. Снежок сам скатывался под ладонями. Развеселилась. Стал получаться снеговичок – высокий, ладненький. Услышала за спиной шорох и смутилась. Муж теперь скажет: разыгралась, как маленькая. Нет, не сказал. Усмехнулся. Сам принялся лепить из снеговичка бабу. А пока лепил, то хитро так на жёнку поглядывал.

Ловко у него получается: руки-то крепкие, сильные, а в тоже время такие нежные, ласковые. Вот вышла из снега спина, появились плечи, шея, грудь. Снежная дева. Юная, красивая.

– Совсем как ты, – он обернулся к жене. – В день нашей свадьбы – ты помнишь?

Женщина обрадовалась. Конечно, она помнила. Она что-то придумала:

– Давай нарядим её невестой! – она сбегала в дом и вынесла свадебный убор, который для неё ещё мать вышивала, чтобы дочери деток наворожить побольше. Ан нет, видать, не вышло.

Благословенный убор окутал снежную деву, а та вдруг встрепенулась и открыла глаза.

– Вот так-так, – муж той женщины даже не удивился. – Доченька появилась, – он только усмехнулся в русую бороду.

– Ты кто, милая? – женщина взяла девушку за руку, неожиданно тёплую и влажную. – Как зовут?

Зверяница тихонько дрожала и силилась разомкнуть зубы:

– Ззззв... Сссс...

– Снегурочка?

– Да! – выпалила полудница, стискивая под благословенным вышитым убором горячее и яркое как огонь золотое яблоко...

«...Эй, охотник! Посмотри! Над макушками дремучего небесного леса, который кажется тебе мрачной дождевой тучей, летят ворон, орёл и ястреб – вихрь, гром и град. Я позже расскажу тебе, что это за птицы. Они выискивают, нет ли где хозяйки третьего золотого яблока. Не находят: она хорошо спряталась. Она, если помнишь, летела с небес и отчаянно кричала, пока не упала в грязи, болота и топи.

Знаешь, охотник, ведь если узор судеб уже сплетён мною, значит, я могу отдыхать и просто разглядывать, как будут выкручиваться из моих кружев простоватые люди и гордые Стихиш...»

Под высоким небом лежала страна земледельцев. С бревенчатыми избами, кое-где с теремами и немощёными дорогами. Страна на краю леса... Кабы не этот лес, а заливные луга, то пахарям было бы сподручнее распахивать поле. Тогда бы не было в том краю так голодно.

В бревенчатом тереме пожилой царь, не оглядываясь на царицу, мерил шагами покой и в пол уха слушал сановника. Сановник, кутаясь в шубу – от беды подальше, – что-то говорил в полголоса:

– ...ещё сообщают, государь, что ко всем твоим бедам луна и солнце с неба пропали.

– Ох, трудно, – царица вздохнула и покосилась на мужа. – Не к добру, не к добру.

Государь, вышагивая, только бородой мотнул и плечами передёрнул. Советник тоже вздохнул и собрался с духом:

– Недород у нас, неурожай седьмой год, а сынок ваш...

– Ох, трудно, – заторопилась и заёрзала царица.

– ...а сынок ваш, гм, князь-королевич то есть, безобразничает.

– Славка-царевич?! – царь-отец нашёл, на кого злость сорвать: – Высеку! В лес паршивца вышлю! Говори, чего натворил.

Царица обомлела. Сановник замаялся, плотнее в шубу закутался и глаза отвёл:

– Мальчик-то ваш... гм... большой стал. Столб в небо упирает, ну, в смысле, булаву поднимает... Уф, – советник аж упарился со стыда. А без кривотолков как объяснишь, что творит-то царевич? – Девкам окна стрелой пробивает! – выпалил что есть духу. – Купцовой, стрельцовой, писцовой дочери да ещё и ключнице вашей.

– Стервец! – взвился старый царь. – Охальник! Женить паскудника – хоть на ком, хоть на лесной девке, на чуде болотном, а немедля женить!

«...Эх, государь! Помнил бы ты, что царское слово – закон и враз начинает сбываться, тогда б и не говорил таких слов в неправильный час. Царевич-то ещё и не знал даже, что про него уже царёв приговор вышел и царская воля сгоряча высказана...»

Лес их был тёмен и глух. В потаённом месте в лесу была заводь, где хорошо побродить с собакой да поохотиться на уток. Вот только охотничий пёс вдруг отчего-то прижал уши и шастнул напролом в самую гущу. Не догнать и не уследить, куда унёсся. Царевич метнулся туда-сюда по лесу, но только потерял тропку и скоро понял, что кружит возле болота. Он испу-

гался. Встал, чтобы оглядеться, прислушался. На болоте что-то хлопнуло, и вдруг раздался голосок, тихенький и осторожный:

– Князюшшшка, королевиччч, помоги мне, миленький, выруччи, а? Что тебе стоит? – кто-то с трудом выговаривал слова нечеловеческим ртом.

– Кто это? – царевич дрожащими пальцами укладывал на лук стрелу. – Покажись.

– Только не бойся, пожжалуйста.

Из топи возникло болотное чудо с огромными влажными глазами, лягушачьим ртом, гладкой тёмно-зелёной кожей и руками-ногами – длинными, суставчатыми да с ластами-перепонками.

– Ой, не шстреляй, не шстреляй! – взмолилось чудо, зажмурилось и так по-девчоночьи стало отмахиваться руками-лапками, что парень пожалел его и опустил лук. Чудо держалось на расстоянии и мелко-мелко дрожало, как от холода.

– А ты вообще кто, чудо? Мальчик или девочка?

– Дурень, – обиделось чудо. – А я – та дурёха, что отца разозлила, вот он меня и проклял.

Царевич сглотнул, понимая и принимая услышанное близко к сердцу:

– Меня папаша тоже проклясть грозитя, – он передёрнулся. – Слышь? А чего тебе надо-то?

– Женись на мне, – чудо распахнуло глаза и ухватило лапками-руками себе за плечи и шею. Так делают женщины, когда решаются на что-то отчаянное.

Вот тут бы и бежать царевичу сломя голову. Мало ли ещё соседских князь-королевичей в этот лес забредёт. Он не последний.

– А... – выдавил он. – А какая ты, когда настоящая? Посмотреть бы... прежде чем...

Чудо задрало в небо голову и по-деловому сощурилось:

– Птиц нигде не видно? Особенно орлов и воронов? Прячусь я.

Шкура болотного чуда вдруг треснула сверху донизу и отпала, как сброшенная одежда. Нагая дева стояла, окутанная лишь розовым сиянием, и закидывала назад свои волосы. Зарево пробирало лес всё дальше и дальше. Свет играл на влажной коже девы, на её боках, животе, груди. В руке, отведённой чуть в сторону, лежало золотое яблоко.

– Что? Хороша? – спросила Дива-Прея, небесная Стихия солнца.

Царевич задохнулся. Он выронил к ногам лук и стрелы. Он хотел что-то сказать, но, похоже, так и не выговорил. Прея-Жива, не пряча наготы, усмехнулась:

– Ты полюби меня, человек! Я – солнечный жар, я – плодородие. Полюби и женись. Но так, чтобы твой батюшка-царь нас непременно благословил, запомни это! Я заклята. Выручи! Царёво и отцово благословение мне силы вернёт да с заклятьем моего отца и царя поборется.

Она торопливо зыркнула в облака, углядела краешек птичьего пера и всплеснула руками. Лопнувшая шкура сама на её плечи накинулась и накрепко пристала. Опять возникло болотное чудо:

– Открываться нельжжя мне, – прошепелявило. – Силёнок пока мало. А я отплаччу: урожай и достаток всему царству будут. Обещщаю. Вот только... жжжить с тобой мы здесь будем. Договорились?

Царь-отец едва услышал от сына новость, так чуть было тут же сознания не лишился. Сказал, что в висках у него заболело и в груди вдруг закололо. Но позвать велел не лекаря, а сановника. Тот долго слушал сбивчивый царский шёпот, потом соображал, кутаясь в шубу. Наконец, высказал то, что на уме вертелось:

– Благословляй его, государь, не мешкай! Не каждый день сама богиня Жива за смертного парня замуж просится.

Так и сыграли в царском тереме странную свадьбу. Жених был пьян вусмерть, а ошалевшие гости гуляли отчаянно. Невесты же на том свадебном пиру и в помине не было.

Всем хорош Мальчик-с-Пальчик – ловок, увёртлив, пронирлив. С приёмным батюшкой они уже трёх купцов объегорили. Лошадь им продали, якобы говорящую. А на конюшне у купца Крошка выбирался из лошадиного уха, отмыкал засовы и уводил лошадей. Да ещё после залезал в дом и таскал у купца кошельки с деньгами. Старик же поджидал его на дороге.

К досаде Малыш принялся быстро расти. Скоро он и нрава сделался беспокойного. В половину возраста, когда дети ещё в салочки играют, он уже носился по улицам и поколачивал палкой детей-приятелей. Кому руку поломает, кому ногу вывихнет. Костоправу уже опостылело грозить старикам:

– Посадите вы, что ли, на цепь вашего Покатигорошка! Сидел бы дома на печи до самого полнолетия.

А Малец уже развернулся в полный рост, выше приёмного папаши сделался. Для забавы он стал зимой на реку ходить и глушить рыбу молотом. Как шархнет балдой-кувалдой по льду, так вся рыбина и плавает кверху брюхом мимо проруби. Успевай вычерпывать.

– Ну ты и Балда! – рыбаки только ахали.

Балда злился на прозвища. Как-то раз, осерчав, он трёхлетнего бычка так ущипнул за шкуру, что одним щипком содрал всю шкуру. Голая туша так и рухнула посреди улицы. В другой раз уже боялись задевать Малого.

Только местный знахарь, покурив да поразмыслив, закатывал глаза и нечто бормотал про Найдёна:

– Поле не меряно, стадо не считано, а пастух-то рогат... Щипком тучу с неба срывает, кнутом облака нагоняет... Громовник-Месяц, Ясный Свет Сокол... Был-то мальчик-с-пальчик, стал-то малец с палкой, а будет Молодец С Палицей...

Ближе к весне Молодец стал тосковать. Особенно звёздной ночью. Выходил из дому, садился на крыльцо и глядел в небо, в самую ночь. Как будто говорил там с кем-то, хорошо знакомым.

– Куда уставился? – ворчала старуха. – Месяца ищешь? Нету его давно, свалился оттуда.

Когда запели соловьи, Молодцу вовсе невмоготу сделалось. Среди дня бросил работу (а он с рыбаками сети чинил и лодки смолил) да повалился в ноги старику со старухой, прямо в пыль, прямо на людях:

– Мочи нет больше, – взмолился окрепшим басом. – Сватайте за меня Ненаглядную Красоту, семи мамок дочку, семи братьев сестру!

Соседи-рыбаки переглянулись: совсем силач умом тронулся. Старик и старуха, сжались, замялись. Старик, кажется, один из всех догадывался, кто таков их приёмный сыночек:

– Так соколик мой, светик наш ясенький, где же её нам найти – саму-то! Ненаглядную, то есть... – старик осёкся, боясь при соседях лишнее слово сказать.

– Так не сосватаете? – вскочил Балда-Покатигорошек. – Ну, так я себе лошадь беру и палицу мою! Искать её еду, – сказал и сделал. В тот же день уехал прочь из рыбацкого посёлка. Больше его здесь никогда не видели.

Той же самой весной – просто вёсны в тот далёкий край приходят попозже – Зверяница-Снегурочка тайком от новых отца с матерью стала грустить. На людях казалась весёлой и приветливой, первые парни городка ухаживали за ней. А Снегурочка лишь хлопала глазами: кто из них кто? Этот, кажется, Лель, молодой купец, а другой – это Мизгирь, пастушок-сви-рельщик... или наоборот? Как их не перепутать, как отличить одного от другого? У людей, как выяснилось, всего по одному имени, но похожие лица – разве запомнишь! То ли дело у Стихий: имён много, а не перепутаешь. Да и чего хотят от неё Лель и Мизгирь? Непонятно. Кажется,

они её любят. А разве люди умеют любить? На небосводе Зверянице говорили, что любовь – это чувство Бессмертных Стихий! Грустно, тоскливо ей здесь, одиноко.

– Месяц мой Ясный, Финист мой Светлый Сокол, – зашептала как-то раз среди ночи, да так горячо, что отец проснулся, прислушался и тихонько сел на кровати.

Нежданная его дочка глядела в окно на частые мелкие звезды и молила кого-то:

– Родненький мой, ты опомнился. Ты как от сна пробудился, очи открыл, а вспомнил-то не меня – ты её вспомнил, Красу твою Ненаглядную. А меня, Месяц мой Светлый? Позабыл разве? Пёрышко твоё, Финиста Ясна Сокола, хотя бы мне урони! – взмолилась и зачастила как заклинание: – Пёрышко Сокола, любовь Ясна Месяца, как Цветок Аленький, заревом сияет, ярким огнём полыхает. А моя-то любовь – как Рябиновый Цвет, красной ягодой горит, алым соком пьянит. О, Рябиновый Цвет и Цветок мой Аленький! Друг друга найдите, друг в друге прорастите.

Отец осторожно подошёл, она его заметила и виновато в темноте улыбнулась. Жалела, что разбудила. Отец тихо сел рядом и помолчал, разглядывая те же самые звёзды.

– Кто же ты, дочка? – он тихо спросил, боясь разбудить жену. – Я вижу: ты не простая, нездешняя. Верно, не из земных жителей. Уж мы-то с мамой знаем... Ты – полудница, милая?

Зверяница промолчала, а отец бережно положил ей на плечо свою руку. Дочка коснулась её щекой, хотя всё так же смотрела в ночь на звёзды.

– Знаешь, – заговорил отец, раздумывая. – После той грозы, что всех напугала, нет на небе одной звездочки. Моей самой любимой: вечерней зорьки-зверяницы, – он посмотрел в глаза дочери. – Не ты ли?

– Я... – призналась полудница.

– Тогда ступай! Ты непременно найдёшь твоего Финиста, – заверил отец. – Кто он, дочка, сам Светлый Месяц? Так ведь и ты – полудница. Не то, что мы с матерью. Полуднице даже Стихии быстрее помогут. Правда же, дочка, вот за городом лесок есть. А всякий лес между землёй и небом растёт. Будто два мира связывает. Где же ещё тебе чудных помощников встретить? Иди, иди, ты лучше меня знаешь, кого в лесу искать надобно. Ступай же, доченька, ступай по утру! И счастлива будь...

...Если по дремучему лесу идти, не переставая, так долго, что в кровь избыются ноги, если не заблудиться в том лесу и ни разу не свернуть, то кончится земной лес и начнётся лес облачный – вековечный и заповедный. Тот лес – уже не мир людей и зверей. Чей это мир, того смертным знать не положено. Так напутствовал Зверяницу приёмный батюшка.

«...И-и-и, добрый горожанин. А ты, гляжу, не так прост и тебе многое ведомо. А ну-ка, зачем отослал ко мне свою дочку? Признавайся! Думаешь, что меня разжалобить можно... За все века такого не было, чтобы я сплетённый узор распускала!

Ладно уж... Считай, что разжалобил. «Рябиновый цвет», она сказала? Я сделаю два узелка в моём кружеве. Узелков ей не миновать, они Судьбой предписаны, а вот в самих узелках пусть поведёт себя, как сумеет. Я там рябиновые ветки воткну: одну с цветками, а другую с ягодами. Первая – её влюблённость, вторая – сама любовь. То есть то, что останется, когда с влюблённых глаз пелена спадёт.

Ступай, ступай по утру, полудница. И осторожна будь!...»

По утру Зверяница собралась в дорогу, простилась с отцом и матерью и покинула их городок.

Орёл, Ястреб и Ворон кружили над чашей леса.

«...Вам, людям, окажись вы на тех же болотах в тот час, Птицы показались бы грозой, градом и вихрем. Одни сосны в лесу знали, кому перепугано кланялись своими макушками!...»

«Её нигде нет!» – сложил крылья-тучи Орёл. «Её нет, и не было!» – Ястреб выпал градом куда-то за край леса, на людские посевы. Ворон Воронович не ответил, вихрем покружил над лесом и сгинул.

На болотах, что лежали в самой чаще этого леса, недавно выросла избушка. Князь-королевич приходил туда всякую ночь и, случалось, заглядывал днём.

«...Но днём-то гораздо реже, охотник! Днями супруга встречала его в облике болотного чуда. Ночами же, когда зоркие глаза Птиц засыпали, она была его женой – Красой Ненаглядной. Вот тогда из окон избушки лился розоватый свет. Окажись ты в лесу среди ночи, охотничек, ты увидел бы свет из окон и подслушал бы разговоры...»

– Не сердчай, Несравненная, – упрасивал царевич. – Это же батюшкина просьба, а не моя. Обычай в нашей стране такой, гм... – никогда прежде он о таком обычае не слыхивал. Но советник ему сказал, что так, дескать, всегда заведено было: – Невестка должна свёкру каравай испечь и новую сорочку сшить. А не то... гм... папаша благословение назад заберёт.

– Ты соображаешь, кому говоришь это? – Дива-Солнце жгла раскалённым взглядом. – Я – богиня, я – Дива, Жива, Пряя, Ненаглядная Красота. Я – Несравненное Солнце! Мне ли для смертного мужика исподники шить и булки печь?

– Богиня, – пробормотал царевич и обиделся. – Сама же просила: полюби, полюби меня. Ну, Преюшка, – стал уговаривать, – у нас же семь лет неурожай, понимаешь? А отец с матерью стары шибко. Во-от... – протянул он.

– Советник, что ль, тебя надоумил? – Дива догадалась. Пораздумала немного и смиловилась: – Умный он у вас. Беды от него жди.

Дива почерпнула ладонью в воздухе и извлекла огненный комочек, до того как будто бы на её груди спрятанный.

– Что это? – воспрянул царевич. – Золотое яблочко, да? Молодильное, – догадался он. – Для отца с матушкой?

– Молодильное, да не про тебя, – отрезала Дива. – Такие на Вековечном Дереве зреют. Жар-Птица пролетит и цапнет его. А одно яблочко – целый год жизни, да с ним урожай, и здоровье, и молодость. Вот год за годом здоровье и молодость убывают.

– Какая Жар-Птица? – царевич похлопал глазами. Пряя смерила его презрительным взглядом:

– Садись-ка в подпол и носа не высовывай. Не для людских глаз то, что произойдет! Знай сиди себе и помалкивай. В полночь я из дома выйду.

В самую полночь, когда выпь трижды прокричала плачущим голосом, Дива-Солнце вышла из дому в лес, а царевич не утерпел, выскочил из подпола и прильнул к малому оконцу, что наверху, почти под потолком. На краю болота Дива перекинула с руки на руку золотое яблочко, и было слышно, как она выкрикнула:

– Эй, семеро мамок и семеро богатырей-братьев! – ночной лес вздрогнул, сосны перепугались и обронили хвою. – Помнит ли кто Несравненное Солнце, Морского Царя дочь? Кто верен, явись ко мне немедленно!

Вскричали треснувшие от урагана деревья. Поднявшийся ветер повалил их. У царевича под ногами затряслась земля. Показалось, что даже небо накренилось и будто поплыло. С небес долетел вой и свист – это сорвались два созвездия, одно Лось или Медведица, второе Лосёнок или Медвежонок. Четырнадцать звёзд, падая, сожгли макушки деревьев.

На Диве-Солнце платье вспыхнуло огнём и сгорело. Нагая, она раскинула руки, разметала как плащ волосы и закружилась. Семь великанов пронесли над ней как тучи, семь грозных дев явились в клубящемся воздухе. Громом загремели мельничные жернова, молнией зашнырял туда и сюда ткацкий челнок. Вспыхивали во тьме иголки, печным жаром раскалилась гроза.

Застонала земля. Лес вздрагивал от ударов. Вот, явился раскалённый в грозу хлеб, пала на землю свитая из вихрей рубашка. Солнце-Царевна собрала разметавшиеся волосы, перетянула их узлом на затылке и одобрительно кивнула помощникам:

– Вот и молодцы, созвездия, на славу потрудились! Вы, братцы-богатыри, друзья по детским забавам, и вы, мамушки, няньки-воспитательницы. Не забуду вас, когда домой вернусь!

Слуги низко поклонились разжалованной Царевне и пропали, как будто здесь и не были. Только развороченный бурей лес кое-как шевелился – да Прея-Солнце зябко на ветру в какой-то плащик по нагому телу куталась.

Царевич шарахнулся от окна и хотел снова укрыться в подполе. Так страшно вдруг сделалось, он же тайны Бессмертных Стихий подглядел. Красавица Дива уже вошла в дом. Царевич еле отвлёл глаза. Даже дух захватило. Вот ведь – как заморозила его, право слово! А взгляд-то у Царевны не нежный да и улыбка-то не ласковая – скорее властная, повелительная.

– Чего уставился, мой человечек? – природная Стихия Прея никак не могла запомнить людские имена. С высоты её дома все люди на одно лицо кажутся. – Вот тебе каравай, а вот держи сорочки. От каравая кусочек съешь, месяц сыт будешь. Крошки в поле выкинешь, урожай и вернётся. Я уже ему приказала. Я – богиня Жива, я своё слово держу! Мне только напоминать надо, кто из вас чего попросил, а то мне все просьбы людей не упомянуть... Сорочки отцу с матерью отдай, не простые они, молодильные. Их грозовым дождичком окропило. Дождь от грозы – вода студёная, на огне молний кипяченая, он же – молоко тучи-кобылицы. Ясно тебе?

Замороженный царевич протянул руки к подаркам. Как же не ясно? Чего тут не понять.

– Дедушка мой, тоже царь, батюшкин тесть, также вот омолодиться хотел, чтобы подольше царствовать. Только он не в грозу, а в три котла с водой и молоком нырять принялся. Убился до смерти.

Прея фыркнула:

– Знаю, видела сверху! Смеялась.

Царевич, довольный, тоже засмеялся.

«Забавный он, всё-таки, – решила про себя Прея. – Пусть радуется...»

«...Ночью над лесной избушкой трижды пролетала Сова, зыряка глазами. Тебе бы, случайный охотник, как и прочим незнающим людям, показалось бы, что это ночная тьма сверкала зарницами. Но случайных людей в лесу да на болоте в ту ночь вообще не было...»

«Сказать, что ли, граду Ястребу, чтобы он передал грозе Орлу, а тот бы доложил Ворону? – рассуждала Сова. – Как на болоте леса дрожат, а сосны в лесу кланяются, будто Стихию Царевну видели?... Нет, не скажу до времени», – и улетела Сова.

Следующим днём князь-королевич, счастливый и сияющий, ворвался в избушку и закричал прямо с порога:

– Преюшка, Дивушка! Батюшка-то с матушкой омолодились! А мы уже и хлебушек раскрошили да в поля покидали. Озимые поднялись – кре-епкие! Живушка, Солнышко, мы тебя в гости ждём – на праздник...

– Сшшоветник, что ли, насшшоветовал! – выскочило из кладовки болотное чудо: острые коленки и локти, лапы с перепонками. Жёсткая зелёная кожа да рот до ушей: – Исшшпытывает меня, да? Вжжжаправду ли та, о ком подумали?

– Не-е, – потерялся царевич. – Это мы сами затеяли. Сановник-то наш, первый советник, наоборот говорит: не надо бы тебя звать, осерчаешь, мол. Так ведь праздник же! Ждём тебя, стало быть. Но только, – замаялся он ещё больше, – ночью тебя ждём, чтобы, ну, понимаешь ли... в другом облике пришла. Ну, в Ненаглядном то есть.

– Лутшше бы шоветника пошлушали, – кипятся, чудо шепелявило больше обычного. – Нельжжя мне. И так вчера раздухарилисьшш: и тебе шолнце-мельница, и тебе шолнце-самопрялка, и тебе пляшки голышом. Только дурень и не поймет, что я ждешь прячушь!

Князь-королевич надулся, насупился. Что-то властное, батюшкино, в его глазах промелькнуло:

- А чего тебе прятаться-то? Вон силища какая – созвездия с неба и те в ножки кланяются!
- Подглядывал, прошшшила же... – скривилось чудо.
- У семи нянек дитя без глазу! – прикрикнул царевич. – Про тебя поговорка? А?
- Дурень! – из огромных глаз болотного чуда аж слёзы от обиды брызнули. – Ведь я же

Стихия, Солнце я, богиня, по-вашему.

– Богиня... – царевич опять обиделся и колупнул сапогом половицу. – Сама же упрашивала: полюби да полюби меня. А ты-то любить умеешь, богиня? Любила бы – пришла бы, как прошу, не позорила бы меня. Вот брошу тебя и уйду – совсем свои силы потеряешь.

Болотное чудо всхлипнуло. Царевич подошёл ближе, сел на лавку. Не глядя, тронул рукой её спину. Кожа на спине была тёплой, но шершавой. Отвернулся.

– Преюшка, – попросил виновато. – Я же видел, какая ты есть на самом-то деле – богиня... Ну, полюби меня, смертного. Что тебе стоит? Годик, другой, ну, десяток. Для тебя это – ничто, ты же вечная. Полюби, хоть через силу. А когда старенький стану, негодный... Ну, выгонишь меня куда-нибудь. Потом.

Чудо болотное шумно сглотнуло и гулко вздохнуло.

– Ишь ты как жалобно, – прошелестело, – да уж ладно, раз так просишшшь.

– Тогда яблочко своё подкинь, – буркнул царевич, – чтобы ненаглядная краса взаправду получилась.

Чудо резко обернулось. Царевич шарахнулся и малость перетрухнул: в здоровенных, на выкате, глазах чуда полыхнули власть и царское самодовольство:

– Держись же, коли так! Во всей красе приду, – неожиданно чётко выговорило чудо. – Только уж потом – чур, не пугаться!

Она выхватила огненный клубочек и легко подкинула его кверху. Яблочко с шипением прожгло и потолок, и крышу, со свистом понеслось вверх, выше леса стоячего. Потом упало обратно, заметно остыв, в ту же самую подставленную ладошку.

В этот вечер в тереме омоловившегося царя гуляли вовсю. Гуляли так серьёзно и с такой решимостью на лицах, как бывает лишь в неурожайные голодные годы. В терем свезли последние припасы из дальних хранилищ. Бояре пили вино, рушили жареных лебедей и глотали последние пироги с рыбой и дичью. Скоморохи ходили на головах и орали похабные песни. Один князь-королевич с приближением ночи всё более мрачнел и хмурился.

– Что, подвела тебя твоя наречённая? – к его уху наклонился сам первый советник. – Как же это получается... не слушает тебя твоя жёнка? Эй, а переспал ли ты с ней, отрок? Кабы переспал, тогда бы сила её мужу-то покорялась. А уж богиня она, не богиня, это не важно.

– Отстань, – дёрнул головой царевич. – Ещё моя власть придёт, – пригрозил. – Вспомнишь меня тогда.

– Придёт ли? Царь-то у нас опять молодой. Вот, кабы тебе, отроку, сама богиня Жива покорилась... – советник поскрёб бороду. Царевич с тоской посмотрел в окно.

Вмиг потемнело. Во мраке раздался лязг и грохот, будто небеса надвое лопнули. Все повскакали с мест, а кто стоял, те попадали. Полыхнула молния – такая, что слюда из окон вылетела. Потoki вод хлынули с неба в разбитые окна, залили пол и стены. Гром и молния били, не переставая, бояре метались по залу, ловили в воде серебряные блюда и ложки, падали. Шум хлещущих вод и гром заглушили их вопли. Внезапно зарево осияло полнеба, и голос властной женщины выкрикнул среди бури:

– А как же ещё являться дочери Царя Небесных Морей и Вод?!

Кто-то из младших боярских отроков задохнулся и выкрикнул царевичу в самое ухо, попадая между ударами грома:

– Твоя ...гушонка в ко... ..нке!

Не в коробочке, нет. У царевича затряслись колени. Не в коробе – на корабле! По небо-склону плыл охваченный заревом чёлн. Горящие молнии струились по его килю и вёслам. Шестеро гребцов били вёслами, отчего ударяли громы, а седьмой правил на корме, пышущей жаром и золотом. Семь девиц в лебединых накидках плясали на палубе перед богиней Преей.

Бревенчатые стены разошлись в стороны, вода схлынула из терема на землю, и Дива-Солнце, объятая светом и жарким пламенем, сошла к пирующим.

– Мир вам! – богиня ослепительно усмехнулась.

Свет с пламенем метались по стенам, слепили боярам глаза. У многих загорелись бороды.

– Довольно, довольно. Смилуйся! – попадали на колени.

Жива-Солнце отвела жар рукою и явилась человеческой женой – царственной, прекрасной, величественной, но без стреляющего в очи солнечного жара. Омоложённые царь с царицей торопились ей кланяться и несли хлеб и соль. Царевич, собравшись с духом, наполнил ей кубок вином.

– Пируйте, дорогие, пируйте, – Царевна Небесного Моря пригубила вино и сморщилась: – Хлебный перегон зелёным вином зовёте?

Она дёрнула плечиком и выплеснула кубок в окно. Возле леса, где была пустынь, разлилось озеро и распустились сады. Прея брезгливо подняла со стола гусиную кость и выбросила её туда же – в озеро за окном.

– Гусей, гляжу, лебедями зовёте? – выговорила. Стая лебедей уже неслась к озеру.

– Благоденствие! – кто-то из бояр первым выкрикнул, а все подхватили – бояре, их жены, слуги, скomorохи: – Благоденствие земле наступило! Изобилие, изобилие...

Жива-Солнце кривовато улыбалась и, наконец, села со всеми за стол. – «Какие странные и непонятные люди, все на одно лицо, – она со скукой оглядела бояр и их слуг, силясь запомнить, кто здесь кто. – Все чего-то хотят, чего-то ждут от меня, но вместо просьб лишь машут руками и ногами, веселятся да скачут. А вот теперь запели: хрипло и не в лад. Тоска!» – разве сравнить со сладкими голосами небесных полудниц? Слушая гам и веселье, Дива-Прея осторожно подливала сама себе в кубок.

«...Постой, путник! Ты сказитель-гусляр? Ты был на этом празднике, и сам расскажешь другим те чудеса, какие увидел своими глазами? Да полно тебе! Гусляр, понял ли ты сам, кем была твоя сказочная Царевна? Я расскажу тебе, что было на самом деле...»

Царь с царицей были пьяны. Бояре лежали по лавкам. Слуги нетвёрдой походкой уносили объедки. Дива-Прея, Жива-Царевна, Ненаглядная Красота и Несравненное Солнце уже захмелела от пшеничного вина и тускло оглядывала людское веселье.

Позже, под самое утро, в доме на лесном болоте князь-королевич выговаривал жене, раздражённо цедя сквозь зубы:

– Ты не должна столько пить, Прея. Ты не должна позорить меня. Я – будущий царь, я – наследник.

– Ах, отстань, ладно? – Дива, пошатываясь, распутывала непослушные завязки на сарафане, а свободной рукой держала приготовленную, но опостылевшую шкуру болотного чуда.

– Ты должна меня слушать, – требовал царевич, – и делать всё так, как я тебе скажу. Вот это болото сделай цветущим садом, а нашу избу – дворцом. С вечера к нам придут гости: я даю ответный пир. Поэтому здесь не должно быть распутицы, Жива. Пусть будут мосты и дороги. Ты слышишь меня, Прея?

Дива уже распустила завязки. С приоткрывшейся груди лился огненный свет и занималось зарево. Прея едва удерживала в себе неуправляемый солнечный жар.

– Тошно мне у вас. Постыло. Хоть пир, хоть роскошь, хоть поклонение, а всё не так, как в батюшкиных дворцах. Я любить хочу, сил нет. Я – Ненаглядное Солнце! Я восхищение люблю, восторги, обожание!

В глазах Дивы что-то затуманилось – мутное, зыбкое. Она тоскливо глядела перед собой. Её золотые волосы растрепались и, освобождённые, легли ей на плечи. Царевич молчал.

– Ну, что уставился, наречённый? – не выдержала Прея. – Хороша, да? Не такие, как ты, мне это говорили! А ты меня похищал из отцовых чертогов? Ты уносил меня из-за сорока гор и морей? Я же сама тебе явилась, сама прямо в руки отдалась, квакушкой-то. Мосты с дорогами тебе надо, дворцы с садами? Ой, да на здоровье!

Она выхватила спрятанное на груди золотое яблочко да с досады так высоко его запустила, что царевич из избы выскочил посмотреть, скоро ли вернётся. Не увидел. Новую дыру в крыше увидел, а золотого яблочка и нет нигде. Унеслось в утреннее небо, к последним звёздам. Царевич растерялся, плечами пожал, поохал. Тут-то изба на болоте в желанный дворец с садами и превратилась.

Пировали у царевича тем вечером на славу. Все бояре признали: гуляние у наследника вышло ещё лучше, чем в царёвом тереме. Угощали допьяна, кормили досыта. Гости плясали, топтали кедровые полы, кидали кости за хрустальные окна и пугали в саду лебедей и оленей.

Князь-королевич один на один подскочил к Живе, что сидела унылая и скучная, и зачистил винным шёпотом, к самому её лицу наклоняясь:

– С вечера до утра гуляем, Солнце моё, а с утра – до самого полудня. Ты поняла меня, Дива? До полудня гуляем!

– Гуляй, – лениво бросила Жива, – празднуй. Я поутру стану болотным чудом.

– Не смей! – поперхнулся царевич. – Все помрут с перепуга, ты что! Ты должна веселить и угощать моих гостей до полудня.

– Мне нужно прятаться, я уже объясняла, – голос у Солнца был холоден. – Мой солнечный жар скрывает только эта шкура.

– Да в печку твою треклятую шкуру! Ох, прав был советник: пока не смиришь тебя, пока не покоришь, добра и не жди.

– В печку? А ты попробуй, – Диве стало всё равно. Она даже отвернулась.

Королевич схватил со стола нож и ринулся в женину спальню. Там раскидал её вещи, нашёл болотную кожу и располосовал на ремни. Ремни для верности и вправду сжёг в печке. Проследил, чтобы сгорели дотла, и разворошил угли.

Когда он вернулся к гостям, Жива-Солнце была весела и с поволокой во взоре танцевала с тем самым советником.

– Ай да молодец, – протянула Прея, когда царевич мог её услышать. – Вот спасибо, вконец освободил меня.

Поутру ничего не произошло. Хотя царевич боялся, что Прея-Солнце вспыхнет огнём, а огонь без следа спалит всё это выстроенное великолепие. В самый полдень, когда гулянье с угощеньем продолжалось в саду, небо внезапно потемнело.

Затмение было чёрным, как вороново крыло. Дымчатое небо затянул мрак. Всё померкло как ночью. Одна Царевна-Солнце вспыхнула розовым светом. Дива испуганно обхватила себя за плечи – так делают женщины, когда их застигают без одежды.

Не скроешься! Неудержимый свет её выдал. Налетела буря, туча завращалась над ней, выискивая, – так кружит над добычей хищник. Деревья в страхе поникли. Сады, дворец, мосты, дороги сами собой растворились, как растворяется облако. Вопя от испуга, гости попадали в грязь, кто-то хлебнул болотной жижицы. Над лесом завертелся столбом чёрный вихрь. В вихре возник некто, обликом сходный с человеком, но только чёрный и с крыльями как у ворона.

– Ворон Воронович, – тихо, как в истоме, протянула Дива.

– Встретились... – проговорил голос из вихревого столба. – Не соврала Сова-птица Ночная Зарница. Стоишь одинокая, негордая, без самодовольства. Неужто пойдешь за меня после стольких-то лет. Разве ждала?

– Ждала? А ты разве спросишь... – странный голос у Дивы: то ли покорный, то ли отчаянный, будто на лихое приключение отважилась.

– Спрошу!

Вихрь Ворон Воронович раскинул за спиной крылья. Чёрный столб закружился, завыл, возрос в самое небо. Жерло вихревого смерча стало шире и захватило Диву-Солнце, Красу Ненаглядную. Куда смерч унёс Солнце – за горы, за край мира или прямо в чёрное небо, – никто из утопающих в болоте бояр не видел.

II

Однажды всадник над ней проскакал. Прямо по макушкам деревьев – высоко-высоко, а сам белый и на белом коне. Зверяница подняла голову, да опоздала – всадник скрылся. За ним и второй проскакал: сам красный, а конь под ним рыжий, прямо пламенный. Зверяница кричала ему, махала руками, но красный всадник с высоты даже не глянул. Третьему, чёрному как ночь всаднику, уже и кричать сил не было – изнемогла Зверяница.

«...Как ты говорил ей, приёмный батюшка? Земной лес кончится, и начнётся небесный, так? За её спиной остались три леса, три реки и три горы до небес! Она в прах истоптала обувь, истёрла в пыль дорожный посох, а заветный Лес всё не открывался! Не всякому он откроется, а лишь тому, кого Судьба примет...»

Дом ягой Бабы открылся внезапно. Оборвался ельник, распахнулась поляна. Зверяница упала наземь и отдышалась. Заветный дом был сложен из брёвен, у него были птичьи ноги, и на них он медленно поворачивался.

«...Да, поворачивался. Так медленно поворачивается мир, если смотреть на него с неба...»

Зверяница кое-как добралась до порога и приоткрыла дверь. В доме рожала ягая Хозяйка. Она раскинулась на лежанке посреди избы. Широкое чрево, тучные бёдра, тяжёлые груди – вечно беременная, она вечно рожала: кому добрую судьбу, а кому злую долю. Рождённый плод весело хихикал, взмахивал крылышками и улетал. А ягая Баба, не уставая рожать, плела из тысячи нитей кружево – пути и судьбы всего живого.

«...Судьба-Доля, Старуха-Земля, ягая Баба – всё это я. Ягода – это плод, ягодь – плодovitое пышное тело, ягая Баба – Мать всего мира. Могу быть ворчливой, могу и подобреть беспричинно. Зверяница всё же нашла меня. К этой полуднице я, кажется, отношусь по-особому. Зверяница-то и зовёт меня по-своему, не так, как все другие...»

– Мапочка, – несмело позвала Зверяница, прикрывая дверь, чтобы не сквозило.

Ягая Баба искоса зыркнула, но не оторвалась от кружева:

– Много вас у меня! Всех не упомнишь... Зверяница! – она вдруг вскочила. – Зорюшка моя, звёздочка вечерняя, – очередной новорожденный плод каркнул, мотнул горбиком и улетел.

«...Вот так ягая Матушка, да! Наградила кого-то горбатой судьбой! Так я же не со зла да и не по оплошности: ведь надо, чтобы и невзгоды кому-то достались. Они-то без вас, без людей, как сироты...»

Зверяница мельком глянула, выискивая в её кружеве знакомые нити-судьбы.

– Не чаяла, что отыщешь меня, – заохала Баба, засуетилась и собрала всё плетение в широкие ладони, с глаз долой. – «...Нечего ей чужие судьбы разглядывать...» – Солнце-то, твоя хозяйка, здорова ли? Ведь не зайдёт ко мне в избушку-то...

– Не суждено ей, наверное, – Зверяница кисло сморщилась. – У Солнца своя дорога. Простым Стихиям не чета.

«Ах, вот же они, судьбы Стихий! – она отыскала их нити даже под руками ягой Бабы. – Вот золотая нить Солнцева, серебряная Месяцева, а возле них моя, медная...» – ох, наплела

Матушка, ох, запутала. Ещё какую-то нитку, чёрную как ночь, сбоку привила. А рядышком две ветки рябины вставила...

– А вот это-то зачем, что это?.. – начала Зверяница и осеклась. Даже язычок прикусила.

– Ну, спрашивай, раз начала! – ягая Баба нахмурилась, посуровела, даже глаза похолодели.

– А всадники День, Заря и Ночь – хорошо ли живут? – полудница выкрутилась. – Встретила их по дороге. Справляются ли без меня, да без Месяца и без Солнца?

– Что им сделается! – ягая Мать засмеялась: – А ты молодец, хитрее меня будешь, не про тайны спросила, а про то, что за двором видела. Ну, проси, проси, дочка! Вижу же, что с наболевшим к Матери пришла.

Зверяница собралась с духом, набрала побольше воздуха и выпалила:

– Mamочка, родненькая! Уступи мне своё место. Хоть на день или на два, но только уступи!

Ягая Баба хохотнула, привлекла её к себе, в макушку губами ей ткнулась:

– Людские судьбы вместо меня рожать будешь?

– Да где уж мне, – девчонка-полудница замялась. – Мне бы здесь встретить кое-кого. А ты, мамочка, той порой отыщи *его*, ну, *того*, ну, другого, – она смущённо затеребила поясок платья. – Помоги мне, направь *его*, куда следует. Ну, мамочка, родненькая, не отказывай!

– Да кого и куда направить, глупая? – ягая Мать отстранилась. – О ком ты?

– Так знаешь ведь, мам, – Зверяница закусила губу: – Зачем спрашиваешь?

«...Слышишь, сказитель. Или кто ты? Охотник с собакой, воин на коне – мне не важно. Это моя история, я соткала её в кружево судеб и не намереваюсь отчитываться, почему да зачем я так поступаю. Но... Видишь ли, это моя особая дочка, хоть я и часто забываю о ней, забочусь о тысячах других моих деток. Просто она заходит ко мне. А ещё она одна зовёт меня Mamочкой. Ясно тебе? Не задавай больше вопросов, почему это я послушала её да зачем пошла искать и приводить в чувство этого, как *его*, позабывшего весь белый свет Балду-Покатигорошка...»

Дородная, чреватая, пышнотелая Баба вздохнула и по-матерински поохала. Посмотрела, пораздумывала. Да и опять дочку-полудницу в лоб поцеловала.

«...Слезай с серого коня, воин. Тебе пора садиться на серого волка. Твой конь – это знак твоей власти над природой мира земледельцев, торговцев и воинов. Но здесь твой мир закончился. Здесь – Лес. Здесь моя власть, и тебе лучше обратиться серым волком, если хочешь идти дальше. Ты не оборотень?...»

Любому, кто пойдёт за Стихиями мира, не миновать в пути дома ягой Бабы. Князь-король про это слыхивал, но по легкомыслию не брал в голову. В тот памятный денёк главный советник, едва вылез из поганого болота, велел царевичу собираться в дорогу. А мать с отцом в первый раз в жизни его не остановили. Отец даже напутствовал:

– Отправляйся-ка ты, дружок, за урожайной богиней хоть на край света. Запомнил? И без Ненаглядной Живы домой не возвращайся.

Запас сухарей иссяк у царевича ещё до того, как знакомый лес растаял в тумане. На пути вдруг возник нелепый домишко с птичьими ногами. Ни дома с ногами, ни поляны вокруг него прежде в этом лесу не было. Здесь не свистели птицы, на ветках не шевелились листья. Тишина переплела собою деревья. Зазвенело в ушах. Царевич заохал, схватился рукой за рёбра и стал терять сознание, ноги подкосились и дальше не пошли.

«...Да, это так, царевич. Дом тебя впустит, повернётся дверью в заповедную сторону и выпустит. Вот только живому человеку этот путь заказан. Страна смертных людей

здесь кончается. Впрочем, ты можешь попытаться позвать ягую Хозяйку и умолить её сжаться – пропустит тебя живьём да не навсегда, а лишь на малое время...»

– Эй, – оробел царевич. – Хозяйка! – решил позвать и вдруг сообразил, как надобно кричать: – Ну-ка, встань, изба, по-старому, как ягая Мать тебя ставила: к входящему – входом, а выходящему стань выходом!

Лопнула вяжущая тишина. Загудел струной ветер. Весь мир затрясся и вздрогнул. Клубочками покатались облака в небе. Царевич не устоял, кубарем полетел через поляну и очутился на другой стороне – в ином мире. Он еле успел подняться, как дверь избы отворилась, и заветный дом вспыхнул изнутри ярким светом.

На пороге стояла ягая царевна и, томно вздыхая, вышивала заговорёнными нитями: стежок сделает – сады зацветут, другой сделает – в садах плоды завяжутся, третий – уже ветки от плодов гнуться, их собирать пора.

– Это... Это Золотое Царство? – царевич зажмурился от золотого света, что горел за спиной у ягой Девы.

Девыцы фыркнула:

– Сразу тебе и Золотое. Как же! С тебя, дружок, и Медного хватит, – Зверяница оглядела его и сжалась: – Заходи, витязь, заходи. Угостить тебя, в баньке попарить? Не стесняйся.

Царевич, робея, переступил порог. От прикосновения к миру Стихий дурманом кружило голову. Зверяница не сдержалась, хихикнула в ладошку:

– Конь-то твой где, витязь? Чаю, коня по дороге волки съели?

Царевич смолчал. Коня он и вправду потерял. Долго искал его и нашёл чьи-то кости, но своего коня или чужого, того не ведал.

– А ты удалой, храбрый, – царевна изволила шутить, но обидный смех умело прятала: – Сюда, на край мира заходят люди сильные, взрослые и к чадородию... гм, способные. А ты, стало быть, настоящий мужчина! Я – ягая царевна, а ты – ягой молодец. *Ой, ты ягой еси, добрый молодец!* Гм... Ну, да ладно, – девыца отсмеялась. – Награда тебе будет. Ворон твою Несравненную недалеко унёс. Скоро её встретишь, Красную Девыцу. Угощайся пока и спи вволю!

Согласный уже со всем царевич кивал и не сопротивлялся. Дозволил усадить себя за стол и до самой ночи потчевать разными яствами. Наконец, одурманенный, царевич свалился на лавку и заснул до беспамятства.

Далеко за полночь Зверяница вышла из избы ягой Бабы. Постояла посреди облачного леса, запрокинув голову и считая звёзды. Когда-то звёзды-полудницы были ей знакомы. Вон с этой бледной и маленькой звездой они были верные подруги, а с той, что теперь мерцает, они часто ссорились... «Надо поторопиться! – подогнала Зверяница. – Скоро завистливая Дневница – Утренняя Зорька выйдет на небо и всё испортит!» – полудница выхватила из рукава золотое яблочко и перебросила его с ладони на ладонь.

– Эй, вся лесная жить, – выкрикнула на весь лес, – эй, волки, совы, рыси и филины! Соберитесь ко мне! Это я, Зверяница – Волчья Звезда, начало ночи и звериного времени!

Заповедная тишина потонула в гомоне. К избе ягой Хозяйки с воем неслись волки и рыси, а поверх леса, ухая, летели совы и филины. Матёрый седовласый волк примчался первым и уже, выпрашивая ласку, тёрся боками о колени Зверяницы.

– Это ты сегодня за старшего волка? – она потрепала лютую зверю загривок. – Найди-ка мне, серый, Набольшего Волка. Где он?

Старший волк заурчал, а молодые волки порскнули в разные стороны. Завыл ветер да такой, что лесная жить замерла и вжалась в траву. Над макушками леса пронеслась туча, а тень от неё проскакала по земле серым волком. Заклубилась пыль, а туча рухнула наземь и обернулась огромным Волчищем.

– Звала, подруженька? – клацнули челюсти. Лесная жить ещё плотнее вжалась в землю.

«...Ты не забыл, зверолов, что вы, звери и люди, никогда не видите Стихий в истинном обличье. Лесному зверю дружок Зверяницы казался теперь серым волчарой...»

– Ветер-Волчище... – Зверяница ему обрадовалась, ей-то он явился молодцеватым парнем. Волк-Ветер ухмылялся и забавно скалил ей зубы. – Ах, Волченько-Ветер, миленький, здравствуй, – личико у Зверяницы посветлело. – Ты не забыл ли меня?

– Я друзей не забываю, – Волченько, усмехаясь, показал зубы и передёрнул плечами, красуясь перед лесной житью. – Ты меня знаешь! – а Зверяница цепко следила за ним, перебегая глазками со зрачка на зрачок:

– Ты наш проводник, Волченько, из земного мира в предоблачный. Верно? Ты наш и, вроде, ничей. Ни зверь, ни человек, ни светило с небес, – она к чему-то клонила. – Ты перевертыш, оборотень, – Зверяница просила так нежно, так ласково, что будто бы гладила Волка словами.

– Кем тебе обернуться? – растаял Волк. – Златогривым конём или сразу Жар-птицей?

– Царь-Девницей! – выпалила девчонка.

Волк-Ветер опешил. Затоптался на месте. – *«...А совам и филинам померещилось, что Серый Волчище растерянно переступал четырьмя лапами...»*

– Которой же Царь-Девницей? – невинно обронил Волченько. Зверяница грустно сморщила носик:

– Не притворяйся! Будто не знаешь: одна у нас Несравненная. Ну, Волченько, милый, мне очень нужно! – стала упрашивать. – Это же не тебе, а мне за всё отвечать. Поможешь, дружочек?

Волк хмурился, не соглашался. Да разве откажешь подружке, когда тебя просят так ласково? Волк проворчал, передразнивая:

– «Волченько...», «милый...», «мне очень нужно...» А старшего волка в кого тогда обратиться – в коня для Царь-Девницы?

Зверяница счастливо закивала.

На следующее утро счастливый царевич, так и не отошедший ещё от дурмана, увозил свою Невесту к отцу с матушкой. На сером, как волк, коне, он вёз Диву-Прею, вещь Красу Несравненную. А Ненаглядная Красота, полюбив царевича, скалилась, обнажая зубы, и водила по сторонам ехидными шальными глазами. Ягая дева-полудница весело махала им вслед платочком.

«...Платочек в её руке оборачивался скатертью, а скатерть на дороге – непроглядным туманом, чтобы царевич к этому дому больше и следов не находил, как бы ни старался...»

Теперь бы и самой Зверянице о дороге подумать. Где-то он теперь, Сокол её Ясный, Месяц её Светлый?...»

У стариковой лошади заплетались ноги. Левая задняя нога задевала о правую переднюю. Бедное животное обречённо косило на седока глазом, а привязанная к седлу палица царапала коняге бедро. Было больно. Не повезло лошади с седоком: на беду хорошо в седле держался, не скинуть. А вот ум в голове у него сидел, видать, плохо: Балда-Покатигорошек твердил сам себе беспрестанно:

– Где – ну, где найти Ненаглядную Красоту, семи мамок дочку, семи братьев сестру? Где – ну, где найти Ненаглядную Красоту...

Как-то раз проезжал по селу и чуть было детей не передал, они врассыпную прямо из-под копыт разбежались. От последнего двора выскочила ему наперерез старуха, как померещилось, не местная, и, замахиваясь клюкой, закричала:

– Чего ты творишь-то, дурень!

– Сама-то, карга, откуда взялась! – Балда от неожиданности рывкнул на бабку.

– Идолице! – укорила вслед старуха. – Едешь туда, куда сам не знаешь, и ищешь то, чего сам не помнишь! – закричала вдогон, оставшись далеко позади. – Потерпи же, увидимся ещё, – вдруг пообещала, как пригрозила.

И точно: едва окончились сёла и деревни, а начались косогоры с кустарником и перелеском, как старуха опять выскочила навстречу. Точно прямо из леса появилась. Тот, кого звали Покатигорошком, насторожился и конька попридержал:

– Старая! А ведь я узнал тебя. Это ты меня только что дурнем обзывала. Я людей-то не различаю по лицам, почти всех путаю, а вот тебя-то признал, – он остановился. Мучительно взгляделся в старуху: – Ты... не из смертных людей, верно? – догадался вдруг и еле-еле выговорил: – Ты... из природных?

– Вот и ладно! – перебила Баба. – Хоть что-то вспомнил. Ну-ка, слезай с мужицкой клячи, – велела суровым тоном. – Не к лицу Громовнику на такой ездить! У тебя был другой конь. Не помнишь? Сотканный из ветра, грозы и бури.

Он только плечами пожал: не помню, мол. Но слез на землю, как велено. Старуха была на две головы ниже его ростом.

«...Ну, ниже так ниже! Больно уж ты наблюдателен, бродяга-гусельщик! Не в росте сила, а в сердечной мудрости. Месяц-то сердцем не мудр, вот память в нём и не держится. Память-то, она же не в голове, она в сердце, среди чувств хранится...»

– Как с неба летел и сквозь тучи падал – не помнишь? Как крошкой сам себе показался – не помнишь? Месяц – это ленивый Пастух и холодный любовник? Как же! – фыркнула Баба. – А кто в ночи мрак разгоняет? Месяц! А чёрные тучи с грозой – не те же ли ночь и мрак? Думай!!! – рывкнула Баба так, что и мёртвого разбудила бы. – В грозу кто полыхает и мрак убивает? Думай!!! Что Молния, что Месяц – не одно ли и то же?

«...С шумом и клёкотом по моему веленью пронеслась в небе Орёл-птица. Вам бы, смертным, она показалась грозовой тучей. Гроза-то мне сегодня и понадобится. Орёл закружил неподалёку над ближайшим холмом...»

– Я... – выговорил Месяц-Громовник.

– Молчи! – оборвала Баба. – На этот холм поднимись, – показала рукой на горку в клочках кустарника. – Это будет твоя Хрустальная гора. Опять не понял? Хрустальная гора – как небо. Встань на неё да кликни грозу на свою голову. Как трижды сгоришь – так сразу и очнёшься.

Месяц потрясённо помолчал несколько мгновений и медленно повернулся к той горке:

– Старуха... Ты в уме ли? – у Громовника осип голос. – Грозу на свою голову кликать? Да твоя горка совсем и не хрустальная, она не годится, – нашёл отговорку.

– Рассказывай, – оборвала Баба, – какой свою великую любовь помнишь! Да как любишь-то её? Ну же! – торопила.

– Я... – запнулся Месяц. – Сейчас, вот глаза закрою... Прекрасная она, неповторимая, сияет, точно солнцем светится... А вдруг открою, – он распахнул глаза, – и будто другая стоит: худенькая, бледная... Постой, я её вспомнил! – перебил сам себя: – Она – ослепительная! Другой такой солнце не видело! Разве что когда в земных морях отражается.

– Ну, вот и вспомнил, – протянула старуха разочарованно. – Но делать-то уже и нечего... – *«...Месяц, он сердцем ленив. Я сказала уже? Солнце, досадуя на него, права по-своему. А в ленивом сердце многое и не сберегается...»*

– Тётушка, а мне не жить без неё! – вдруг сообразил Месяц и встревожился: – Совсем не жить!

– Ой ли? – не поверила Баба. Скривила губы, глянула на холм искоса и, словно брезгливо, велела: – Давай, хозяйничай, Громовник. Приказывай своей грозе! – от взгляда ягой Бабы холм покрылся изморозью, кустарники с него осыпались, а склоны затянуло белой наледью.

«...Гроза стала собираться, странник, когда Месяц ещё только взбирался на Хрустальный купол. Туча зависла над его головой, но бить громом в самого Громовника пока не решалась...»

Месяц-Громовник растеряно смотрел с Ледяной и Хрустальной горы вниз на вещую старуху.

– У тебя же есть яблоко! – снизу замахала руками Баба. – Золотое! Подкинь его. Но меньше чем на три грома не соглашайся!

Ясный Месяц заспешил. Вытащил огненный клубочек – тот самый, о который ещё приёмная мать сожгла палец, подобрал его и сразу поймал голой ладонью.

Мир переменялся. Травы, холмы, косогоры как-то померкли. Над головой и далеко вокруг простёрлось синее хрустальное небо с блуждающими звёздами. Под небом, застилая звёзды, неслись к Ледяной горе грозные птицы. Суровый Орёл-Туча затянул собой половину неба. Ниже Орла мчались Ветры-Собаки: вздымая хвостами пыль, за старшим Псом бежала вся его Свора и ураганная Охота.

Долетел гром, и ливень пролился на Ледяную гору. Сверкнула молния, и потоки дождя окрасились золотым пламенем.

«...Гляди же, гляди, странник-гусельщик! Коршун и Филин, Стервятник и Ястреб всё ближе! А это буря и тьма, град и гром! Что ни взгляд грозных птиц, то холодом до кости пробирает. Вот кипящий дождь, и тот стынет, камня льдинами-градинами.»

Где летят грозные птицы, там ненастье: взмахнут тёмными крылами – взовьётся ураган, отмахнутся – блеснут молнии, стальные их перья. Ох, береги голову, гусляр! Не попасть бы тебе на земле под такое перо!...»

– Эй, птицы! – Громовник раскинул руки. – Я узнал вас, я вспомнил! Вы – мои слуги, вы – Буря, Град и Гром. А я – ваш Светлый Месяц, ваш Ясный Сокол. Так покоритесь мне!

Как непокорные кони взвиваются на дыбы, так взвились перед ним Птицы. С клювов и когтей сорвалось пламя, а из пламени сплелась молния и трижды поразила Громовника. Один удар грома, другой, третий. Ледяной холм под Финистом Ясным Соколом содрогнулся.

«...Эта молния, Сокол, подожгла твои стопы и колени, и ноги засветились жарким золотом. Со вторым ударом, Финист, вспыхнули и засияли лунным серебром твои руки. В третий раз молния поразила тебя в голову...»

– Теперь слушайте меня, Ветры сильные! – Громовник словно проснулся, его крик прокатился по облакам, а хищные Птицы взъерошили перья. – Приведите мне Коня, сотканного из бури и гроз!

Псы-Ветры рванулись от Хрустальной горы на четыре стороны. Опять прокатился гром – теперь это гремели копыта Чудо-Коня. Блеснули молнии – это Конь выпустил из ноздрей пламя. Конь замер перед Финистом-Месяцем. Конь был чёрен как ночь и бел как день, а грива – красна как огонь, хвост – рыжий как пламя. Хищные Птицы-Ненастья вскрикнули, зароптали укатывающимся вдаль громом, но смирились.

– Теперь же, – велел Месяц-Финист, – пусть явится и послужит мне Моголь-Птица. Она знает, куда отнести меня!

Вот, из-за края неба поднялись необъятные крылья. Два крыла – каждое как половина ночи, что застигает небо. Птица-Ночь простёрла крылья, скакнул Чудо-Конь, в Ночи блеснул Месяц... и всё пропало. Унеслась Моголь-Птица.

А на холме лишь побитая ненастьем трава кое-как поднималась.

«...Вот и пробудила его, вот и направила. Как теперь не сетовать? Ой, глупая, ой, несчастная, девка Зверяница... А ну, отвернись, путник! Думал, я бесчувственная? Думал, у меня сердце не болит?...»

Ягая Хозяйка обернулась на одном месте и оказалась возле избы, где Зверяница вышивала в садах урожаи.

Девушка-заря полудница выскочила за порог дома:

– Месяц очнулся? Вспомнил меня!... Мамочка? – она почувствовала неладное. Ягая Мать с сожалением смотрела на неё. Зверяница замаялась, забеспокоилась: – Что-то не так, Мамочка... Тебе трудно было?

– Тебе-то трудней придется, – ягая Баба вздохнула: – Ох, дура ты моя, дура. Он же вспомнил, да не тебя, а соперницу твою. За ней и помчался освобождать её от Ворона. Ну? А как же ты думала?

Зверяница сжала губы и отвернулась. Стиснула кулачки, но промолчала.

– А я так и думала, а я знала, что именно так и получится, – Зверяница захорохорилась: – Мы теперь с ней самой поборёмся!

– Поборетесь? Звёздочка с Солнцем да за любовь Месяца? – ягая Баба обняла полудницу. – Эх, что с тобой сделаешь. Ведь ниже земли тебя уже не скинешь? – ягая Мать попробовала пошутить с дочерью.

– А ты благослови меня, – Зверяница уткнулась в грудь ягой Матери. – Всё и получится!

– Чем благословить-то? – ягая Баба пожала плечами. – Разве что этим.

Над ухом часто-часто захлопали крылья. Зверяница вскинула голову. На руке у ягой Бабы сидели три птицы: белая голубка, бурая соколица и чёрная вороница. Вспорхнули – и улетели туда, куда лежала дорога Зверянице, Вечерней Звёздочке.

«...Беги, деточка, беги. Моголь-Птице одну ночь лететь и крыльев не утомить, а тебе, несчастной, целые дни бежать и ноги в кровь исколоть. Я помогу, я затяну кое-какие нитки в моём кружеве. Одному – пускай будет ночь, а другой – долгие дни. Но что быстрее пролетит, то я одна знаю. Здесь время-то своё, прихотливое, словами его не опишешь. „Долго ли, коротко ли“ – не зря так говорится...»

Ш

Тишина и усталость властвуют в чертогах Ворона. Дива-Солнце тоскливо изучала стены холодной гостиной. Здесь нет ни тёплого золота на сводах, ни звонкого хрусталя в полу, к чему так привыкла в батюшкином дворце. Здесь только гладкий белый камень, прохладный и чуточку шершавый, если решиться его погладить.

Верное существо, пёс с клыкастой тупорылой мордой, на задних лапах служит Солнцу и Ворону у стола и из каменного кувшина подливает вина в их кубки.

– Знаю, о чём ты думаешь, – Ворон разомкнул бледные губы. – Я действительно мог бы взять тебя силой. И моё преступление не повлекло бы ни кары, ни мести, особенно теперь, когда ты проклята отцом.

– Отцом? – Прей скривила губы. – Вихрь, да ты и кончика его усов не стоишь.

«...Что ты знаешь о её отце, Вихрь? Пламя, огонь и страсть – Всевед горяч на руку и скор на расправу. Мне ли не знать его несносного нрава. Может быть, Ворон, я оттого и сплела ваши судьбы, чтобы Всевед ощутил себя виноватым если не за былое, то хотя бы за настоящее. Э-э, Ворон, да ты не слушаешь меня, уж больно ты занят своими мыслями. Так буду ли я вспоминать тут свою молодость?...»

– Твой отец, Дива, когда-то прочил тебя мне в жёны, – Ворон-Вихрь не замечал её досады. – Поздним вечером, на закате, – он меланхолично растягивал слова, – дева по имени Солнце сходила бы с небес и погружалась бы, – он выдержал паузу, – в объятия мрака. Это так естественно. Ты не находишь?

– Я должна тобой восхититься? Пожалуйста! – Солнце в раздражении фыркнула. – Ах, как он сидит напротив меня, ах, как ровно держит спину и цедит сквозь тонкие губы вино, ледяное и прозрачное как слёзы! В твоей гостиной, Вихрь, даже белый огонь в камине блестит

так холодно, что у меня, у Солнца, стыннут пальцы! Мне хочется согреть их в тени, куда свет твоего огня не дотягивается.

Дива-Пряя дёрнула плечами и пролила ледяное вино. Клыкастый тупорылый пёс подбежал и полотенцем собрал его со стола. Полотенце бросил в огонь, а оно синевато вспыхнуло и рассыпалось снегом и инеем.

«...Глубоко в подвалах у Ворона, Солнышко, заперт и настоящий Огонь. Подлинный – не белый и холодный, а жаркий и ненасытный. Когда-то в детстве ты, девочка Солнце, хотела его погладить, но Огонь взвился на дыбы, заржал и чуть не убил тебя своими копытами.

Помню, на земле людям показалось, что гибнет весь мир. В тот час их крики добавили мне седых волос. Твой отец Всевед грозился и бушевал, Огня заперли в темницу, а молодой Вихрь-Ворон холодно и чуть удивлённо разглядывал тебя, плачущую девчонку. Солнце, почему ты до сих пор не забыла этот его долгий и удивлённый взгляд? Как ты думаешь, Солнце?...»

– Твой ответ – опрокинутый кубок? – терпеливо спросил Ворон, терпеливо и с холодком.

Дива-Пряя собралась вспыхнуть в ответ, но сдержала себя. Дождалась, когда клыкастый пёс отойдёт:

– Я выбрала Сокола, – сказала она, сдерживаясь. – А если выбрала, Ворон, то выбрала раз и навсегда. Я имела случай убедиться: небосвод больно хрупок, чтобы испытывать его резкими переменами!

– Но на земле и в болотах ты не вспоминала о твоём Соколе, – разочарованно протянул Ворон.

«...Ты знаешь, Солнце, Стихии меж собой спорят, кто, по их мнению, подлинный хозяин ночи и холода – твой слабовольный Месяц, гуляющий по небу со звёздами, или же Ворон-Вихрь, сковывающий мир тишиною и мраком.

Поверь старой Бабе, Солнце, что после летних страстей, любовно жарких ливней и плодородящей натуги хочется сна, покоя и отдохновения. А зима без страстей и тревог, которую дарит хладнокровный Ворон, так похожа на сон, сладкий и бесконечный...»

– Круглый год ты была бы Царицей моего снега! – Ворон, не мигая, глядел на Солнце. – Единожды в лето я бы отпускал тебя к твоему отцу в гости. Поверь! Обитатели земли будут этому рады, они установят в тот день весёлый праздник!

– Мне с тобой... – Солнце перебила Ворона и вдруг осеклась: – «Ах, как он топорщит перья на своих крыльях, ах, как он тербит пальцами каменный кубок!» Она вдруг разглядела, что глаза у Ворона в красноватых прожилках, а нос заострился, и серые тени лежат на скулах и нижних веках. – Мне с тобой скучно! – договорила она, вредничая.

– Конечно! – досадуя, Ворон расхохотался. – С Ясным Месяцем веселее. Воображаю, как он изменял тебе, тучный и ленивый Пастух! Кто же из вас рогат – Месяц или само Солнце?

Он долго смеялся, а Солнышко обнажила зубки. Кажется, она сумела вывести из себя невозмутимого Ворона. Дива-Пряя этим удовлетворилась.

– Ты не плохо осведомлён! – заметила.

А Ворон, смеясь, охрип, помрачнел и выговорил:

– Сокол тебе не ровня, Дива! Он ровня твоей служанке-полуднице.

– Мне скучно, и я хочу спать, Зимняя Ночь! – вспыхнула Солнце.

Ворон поморщился:

– Зимняя Ночь? Только смертные смеют называть Стихий длинными именами. Ты слишком долго пробыла на земле с её обитателями... Ненаглядная Красота! Отдохни, раз устала. Если хочешь спать – спи!

Из инистого камина вылетел сизоватый дымок и заструился у лица Преи. Дива вдохнула его и покачнулась. Ворон успел поддержать её. Принял себе на плечо её поникшую голову. Поднял Солнце на руки и вынес из зала. Винтовая лестница побежала навстречу. Ворон спу-

стился в нижние покои – там Диве станет теплее от заключённого в подвалах Огня. Он уложил Прею на кровать и задёрнул полог.

– Спи! – приказал. – Проснёшься не сама, а когда я тебе повелю. Либо тогда, когда меня, Ворона, во сне своим мужем увидишь! – договорил, и стрельчатые окна в покоях сами собой хлопнули, открываясь и выпуская его.

«...Вихрь, ты взметнул плащ и вылетел в окно птицей-вороном. А может иначе, ты, Ворон Воронович, взвился пылевым вихрем и унёсся в окно. Ты разгоняешь твою тоску, Ворон! Выпущенный из подвала Конь, крылатый Огонь, весь в дыму и искрах, несёт тебя, а под тобой горят земля и небо, плаваются хрустальные дворцы облачных дев и пылают деревья...»

– Слышишь, Огонь! Хочу, чтобы пожар согрел меня, – выкрикивал Ворон, а Конь косил на него раскалёнными глазами. – Нет, не пожар! Лучше – ты, Огненный Конь, отогрей мне стылую душу. Ты – если не Солнце...

«...Полудницы бегут от тебя прочь, людям кажется, что это рвутся ветры, пылают на заре облака, а осень берёт приступом сады и лес. Томясь сердцем, Вихрь, ты жжёшь заодно людские города, и тогда по улицам гуляют моровые поветрия. Люди, несмотря ни на что, выживают, но клянут тебя, говоря, будто ворон накликал беду своим карканьем.

Долго ли, коротко ли кружил ты по миру, неведомо, у Стихий даже время течёт прихотливое. Но в твои, Ворон, владения забрела чужеземка, девушка-полудница. Все преграды ей пройдены, на переправе суровый лодочник подкуплен, на пути трёхголовый страж накормлен, придорожный колодец вычищен, у старой яблони ветки подвязаны...»

Решительная путница остановилась у ворот Зимних Чертогов. Напоила маслицем каждый замочек, каждую дверную петельку – ворота перед нею раскрылись. Вот Зверяница по гремучим ступенькам вверх пробежала, ласково уговаривая их, чтобы не скрипели, шума не поднимали и сторожей не звали:

– Где железные башмаки, лестница? Истоптала я их. Где железный посох, ступеньки? Изломала его по дороге. Где железные лепёшки, милый порожек? Я не голодна. Это не я томлюсь голодом, это сердце моё стонет: «Где мой Ясный Сокол, где мой Светлый Месяц?» Любовь моя – рябиновый цвет, она светла, легка, меня в дороге вела, в пути согревала.

«...Доченька моя, одна из тысячи! Дай я поглажу шершавой ладошкой рябиновую ветку – твою, дочка, первую влюблённость. В этом узелке пути ты вольна в своих судьбах. Как-то ты справишься, сама да своей волей...»

Двери нижних покоев впустили полудницу. Клыкастый пёс, верный служака, куда-то в этот час ускакал – должно быть, в гостиные залы, где кости после ужина не убраны.

– Барышня, – робея, позвала Зверяница. Жива-Солнце спокойно спала под облачным пологом. Заря-полудница развела облачко руками: – Сестрёнка! – позвала чуть смелей. Дива-Прея не откликнулась, округлое её лицо даже во сне было самоуверенно. – Хозя-яйка, – с укоризной протянула полудница, Солнцева служанка. – Не барышня ты, не сестрица – хозяйка! Соперница... Тебе бы не любить, Солнце Красное, тебе бы владеть кем-нибудь нераздельно! Ну, скажи, зачем тебе влюбляться в кого-то? Тебе, золотой Царевне, и так все покорны.

Затаив дыхание, Зверяница оглядела свою госпожу, дочь Морского Царя, Всеведову наследницу. На светлом челе ни тени, на гладкой коже ни пятнышка. Несравненная Краса вздохнула во сне и замерла. Только высокая грудь ровно поднималась. Зверяница вцепилась в простыни и потянула за них, поволокла, стаскивая Царевну с кровати.

– Пойдем же, барышня, пойдем! – тело мягко стукнулось об пол. Зверяница еле удержала царевнину голову. – Ворона во сне ты долго не увидишь. Стало быть, и спать долго будешь!

Полудница поволокла её по полу к двери кладовой клетки.

– Уж я-то знаю. Ты моего Месяца любишь. Он-то один тебе и снится, – она осторожненько перетаскивала царевну через порожек.

Прея-Солнце во сне чуть вскрикнула и застонала. Зверяница испуганно перевела дух:

– Вот-вот: и я о том же. Мне ли не знать, Солнце, как это бывает, когда Ясный Месяц во сне снится... Крепко спи, барышня! – Зверяница захлопнула дверь клетушки.

Зверяница вернулась к кровати с облачным пологом, успокоилась, сдержала биение сердца. Золотое огненное яблочко откуда ни возмись вынырнуло на её ладонь. Полудница крепко сжала его и оглянулась. Вот, три птицы, самочки ворона, сокола и голубя притаились над пологом кровати. Девушка-заря подкинула яблочко. Оно прожгло полог, перекрытия, потолок и крышу, унеслось выше замковых башен и вернулось. Потолок и перекрытия тотчас затянулись ледком и инеем. Получилось! Зверяница с трепетом осматривала себя и ощупывала новое лицо. Точь-в-точь! Лицо и тело стали точь-в-точь такими, как у Несравненной. Она быстро взглянула в ледяное зеркало.

«...Доченька-полудница, ой... Дух захватывает – какая ты теперь статная, осанистая, горделивая. Вон, даже взгляд стал как у Царевны – самовластный, державный. И-и-и, что это ещё? Личико Солнца в зеркале скривилось – это ты, Заря-Зверяница, до слёзок позавидовала Царевне и её красоте? Эх... Ледяное зеркало затуманилось от Зверяницыного вздоха, потекло от обиды, заплакало... Всё! Всё, дочка, не ты плачешь, а зеркало. Вот так-то лучше. Молодец, справилась с собой...»

Зверяница-Солнце улеглась на кровать и прикрыла глаза – якобы спит.

За окнами в сумеречном небе заиграли сполохи северного сияния. Это грива Огненного Коня развевалась. Ворон-Мрак вернулся со слугами. Сумерки и Потёмки, Бураны и Вьюги, Затмения и Студенцы-Морозы – многих из них Зверяница знала – встречали его и принимали коня.

Ворон Воронович поднимался в её покои. Зверяница застыла и прикинулась спящей.

«Вспомнить бы, как дышала во сне Солнце, – засуетились её мысли. – Медленно и глубоко или же скоро и часто, как будто ей что-то снится?»

– Ты всё спишь, Солнце, не пробудилась? – такой сочный, такой... мягкий и шершавый голос у Ворона Вороновича. – Жаль. В глубине замёрзшей души я на что-то надеялся. – У полудницы почему-то мурашки по телу побежали. – Просыпайся!

Она вздрогнула и распахнула глаза, села.

– Ах, – судорожно вздохнула. – Это – ты, Ворон...

Как трудно быть не собой. Но она старалась. Своего похитителя Прея знала едва ли ни с детства – так говорили меж собой звёзды.

– Ты прилетел? – спросила поуверенней, как старого знакомого.

– А ты ждала другого? – Вихрь бросил эти слова резко, очень резко.

«А ведь он ревнует, – догадалась Лжесолнышко. – Вот, даже двигается размашисто, дёргано, и рукою при этом машет – будто сучья рубит. А ещё...» – полудница переполошилась: ещё Ворон, не отрываясь, глядел на запёртую дверь кладовой.

«Что? Что с дверью не так? Пыль с порога смахнула, половицу не так подвернула?» – её сердце заколотилось:

– Мне что-то снилось, Ворон! – выпалила второпях. Ворон медленно перевёл глаза с кладовой на Зорьку-Лжедиву. Надо срочно увести Вихря из комнаты! – Ах, да! – она якобы вспомнила свой сон и старательно покраснела, украдкой взглядывая на Ворона, но тот уже отвернулся. – Ты с дороги всегда такой... воинственный?

Ворон застыл. По прямой спине видно, что поражён и слушает каждый её шорох. Она поднялась, нарочно долго шурша платьем. Этот пыльный дорожный плащ Ворона... «Вихрь, несомненно, теперь думает, – соображала Зверяница, – что женщины любят таких вот мрачных, утомлённых, но уверенных в себе мужчин», – когда они поднимались в верхние залы, Ворон даже предложил Зверянице-Лжесолнцу опереться на его руку.

Они пили вино. Свет ледяного камина поблёскивал в его золотистой влаге. Лжесолнце тихонько поигрывала кубком. Так делают женщины, когда хотят придать себе вид загадочно-

сти. Движения Ворона сделались плавными и неторопливыми. Он не сводил с собеседницы глаз – настороженных, внимательных и явно недоверчивых.

Клыкастый пёс с тупорылой мордой прислуживал за столом, а когда остановился слева от Лжесолнца, вдруг хрипло зарычал и утробно рывкнул. Ворон поспешно на него глянул:

– Осторожнее с ним, Дива, – сумрачно посоветовал. – Мой добрый Хорт чует малейшую фальшь.

– Может быть, это ты сегодня фальшивишь? – Лжедива вернула упрёк. – Скажи, ты всегда так взнуздываешь лошадь?

– Что? – поразился Вихрь.

«Он растерялся! Это хорошо».

– Твои руки, Ворон. Запястья. На них рубцы, как будто ты узлом закручивал на них повод.

– Ты так пристально рассматриваешь мои запястья? – Ворон удивлённо заломил одну бровь.

Лжедива усмехнулась одной половинкой губ. Не только его руки, но и голову она изучала с интересом: – «Ему, кстати, идёт эта мелкая седина и сухие морщины на лбу. Как он удивился, когда сказала ему про запястья! Когда с сильных мужчин сваливается несокрушимая броня, они теряются. Иногда это бывает им к лицу. Жаль, с Месяцем всё не так. Месяца надо в броню облачать!» – Лжесолнце встряхнулась, опомнилась. Кажется, она стала забываться. Странно, почему Хорт, чующий всякую фальшь, перестал утробно взрыкивать.

«...Здравствуй, человек, не знаю кто ты... У меня душа не на месте. Это всё дочка моя. Дело затеяла или не дело, никак не пойму – к добру или к худу... Ты сам собери себе поесть, путник. Дочь меня не слышит, занялась своими мыслями. А я не переживаю? Ты, путник, думал: раз ягая Хозяйка плетёт судьбы, значит, лишена она сострадания? Ох, лучше бы я не бралась за это кружево...»

Уже белая голубица, благословение ягой Матушки, скользила по поднебесью. Ей, бедняжке, было тяжелее всех оставаться в стране Зимы-Ворона. Вот – далеко впереди раскинула крылья от края до края неба Ночь Моголь-Птица. Белая голубка закружилась живым комочком. С крыльев Моголь-Птицы соскользнул всадник – Ясный Месяц-Громовник. Там, где копыта Чудо-Коня коснулись земли, забили четыре ключа-родника.

– Вестница? Голубка? – Финист-Месяц протянул белой голубице руку, птица на неё опустилась. – Что ты принесла? Белокрылая?

Голубица раскинула крылышки, из пёрышек по небу развернулась радуга, а в ней на малый час явилась сама Дива, желанное Солнышко:

– Соколик мой, Финист Ясный Месяц, я всё жду тебя, мой милый, любимый. Мне одной тяжело, я без тебя тоскую, – молила вестница так жарко и ласково, как Дива-Солнце в жизни не говорила с Месяцем: – У Вихря Вихревича я, а ты спасёшь меня, я знаю! Я тебе помогу, родной, подскажу, как с ним справиться. Только другой весточки дождись от меня. Жди, родимый, крепко жди...

Давно уже и радуга свернулась, и голубица к ягой Бабе упорхнула, а Сокол-Месяц всё стоял потрясённый, пока сам Чудо-Конь под ним не принялся бить копытом.

– Скорей же, Чудо-Конь! Лети скорее! – рванулся Финист. – Она ждёт, она ждёт меня! Дива мне так и сказала.

Чудо-Конь взвился в облака и снова, пав оттуда на землю, выбил родники копытами. Но только новые ключи-родники полились уже за сотню вёрст от первых.

Много дней жила Зверяница в стране Ворона. В ледяной зале Зимних Чертогов вились по углам тёплые тени – теплее, чем леденящий огонь в камине. Тихая музыка пела сама собой – то ли гусли, то ли грустный рожок. Слуга-невидимка перебирал по ним прозрачными пальцами. Вихрь Ворон Воронович и Звёздочка-Лжесолнце танцевали. Чующий фальшь клыкастый пёс Хорт прижал уши и не подавал голоса. Кот Баюн, свернувшись в углу, баял какую-то байку.

– Во-орон, – Лжесолнышко ласково повела голосом. – Даже не знаю, в чём твоя сила... Любую женщину влечёт к тебе. Ты же воин, ты – непобедимый. А почему непобедимый, в чём твоя мощь?

Танцую, она осторожно коснулась рукой его шеи и отпрянула. Ворон не отвечал, медленно кружа с нею по залу.

– В твоих крыльях? – не отставала Зорька-Лжедива. – Я догадалась: твоя несокрушимая сила в твоих крыльях! – она заигралась рукой в складках его плаща, что превращался в крылья, но ахнула: – Если твои крылья намочит дождь, ты упадёшь? – она засмеялась почему-то легко и беззаботно. Странно, что Хорт до сих пор не рычит... Она закружилась, отвлекая то ли Хорта, то ли Ворона, то ли саму себя. – В этом и есть твоя тайна? Да, Ворон?

Ворон расслабился, а ей стало нравиться, когда он расслабляется. Ворон усмехнулся, поддерживая игру:

– В рогах! Моя тайна и сила – в рогах моего шлема!

– Правда? – ладонью она погладила его жёсткие волосы. На каминной полке лежал рога-тый шлем Ворона. Танцую, Лжесолнце приблизилась к шлему так близко, что ветер из камина развевал её розовое платье.

– Ты больше не скучаешь? – поймал её Ворон. Полудница мигом подобралась.

«О чём это он?» – заволновалась. Простые слова с потаённым смыслом, сокрытым не сегодня, а в день, когда Солнцем была здесь другая.

Она неопределённо повела плечиком, якобы ответила. Жаль, если Ворон сейчас замкнётся и прекратит танцевать с ней. Солнечными пальчиками Лжедива коснулась шлема Ворона и озолотила грозные рога солнечным светом.

– Так лучше? – ей положительно нравилось оставаться Солнцем.

Вихрь засмеялся и закружил её быстрее. Только тут она поняла, что не только ветер, но и свет льётся из камина, а её розовое платье – так тонко и прозрачно.

– Тогда в чём, Ворон? Ну, признайся же! – весёлая игра в не саму себя захватывала дух.

– В рубашке! – крикнул Ворон, танцую. – Не только люди, но и Стихии мира рождаются в рубашке!

Лжесолнышко широко распахнула глаза:

– Вот в этой? – она откинула ему ворот и подхватила пальчиками край сорочки. – В этой, правда? Ах, – она испугалась. – Она же порвана, – она выбилась из танца и засуетилась: – Дай я зашью её. Верно же, давай, – ей почему-то хотелось немедленно починить Ворону сорочку. – Что же ты стоишь? Разве твоя сила боится простой иглы?

Ворон с неожиданной яростью оторвал надорванный ворот рубашки и выбросил в камин, в серебящееся льдом пламя. Лоскут охватило огнём, и он рассыпался инеем.

– Ворон... – напряжённо позвала Зверяница. Поздно. Вихрь запахнул в несокрушимую броню. – Так что же ты, глупый? – она потянулась к нему. – Что же ты? – Ей захотелось продлить эту игру, а ещё... ещё какая-то слабость мягко ласкала её где-то внизу живота, так сладостно, так настойчиво. – Ворон... Не усыпляй меня больше, я усну сама. Мне что-то снится про нас!

Затрещал и захрустел в камине ледяной огонь. Ворон резко привлек её. Нежность его оказалась чуть грубой, а руки жёсткими, но у Зверяницы-Лжедивы от них сладко защемило внутри. Ворон унёс Солнце к себе, в свои покои. Потом льдисто-серебряный свет приугас, и свет розовый, солнечный засиял от Лжесолнышка, когда упало тонкое платье.

В эту ночь Звёздочка-Лжесолнце отдалась Вихрю-Ворону...

На следующее утро по всей земле выпали алые росы...

– Твой муж даже не знал тебя! – не выдержал Ворон...

Соколица забила крыльями и вырвалась из Чертогов. Далеко внизу пронеслись жёлтые корабли облачных дев. Под ними лежали пустыни и горы. Радуюсь воле, рыжая птица скользила крыльями по мокрому небу. «Бедная вороница! – она пожалела. – Устроила в тайном уголке гнездо и согревает яйцо с воронёнком. Её никак нельзя было выпустить вместо меня».

Соколица сложила крылья. Ей слышался шорох как от дождя: журчали родники, выбитые Чудо-Конём из камня. Всадник Громовник с каждым скоком Коня становился всё ближе к Вороновым владениям.

– Месяц, Месяц! – заклекотала соколица. – Сокол-Финист! – она закружила, теряя высоту, и опустила всаднику на предплечье.

– Ну? Где моя весточка? – Финист возмужал, переменялся, стал резок и решителен. – Поторопись, тёзка, вещая птица! – на его груди теперь стальная броня, на челе – шлем со стрелой-переносом. Вот только руки пусты: ни меча, ни пики у воина. Одна булава, детская игрушка, и та давно позабыта – у седла Чудо-Коню бока щекочет.

Рыжая птица затрепетала крыльями, спрятанная радуга вырвалась и заволокла часть неба. Как живая встала Дива-Солнце и заговорила так, будто сама здесь стоит и усталой душой томится:

– Финист мой, никак не дождусь тебя. Ясный мой Сокол! Сердцем чую, ты рядом. Поспеш, одолей Ворона. Я скажу, где его тайна лежит, которой ты победишь его...

У Месяца заныла душа от ревности: ведь не даром и не спроста открыл ей Ворон свою тайну. Она говорила и говорила, такая нежная, трепетная – Дива, светлая Прея, Солнце. Она выведала у Ворона и про дуб, и про ларец на дубу, про птицу в нём, птичье яйцо и иголку. Месяц томился и слушал. Вот, унеслась соколица, растаяла в облаках вестница. А Сокол-Финист до боли стиснул зубы да так пришпорил Коня, что из его боков ручьями кровь брызнула.

«...Где пролилась та кровь, кровь ревности и боли, там вырос частый рябинник. В этот час под моими руками засохла одна из рябиновых веток. Та самая – с белыми цветочками, скромными и непорочно чистыми. Я роняю слезу на кружево, но сдерживаюсь. Вот, я снимаю пелену с чьих-то влюблённых глаз. Любовь это то, что останется, когда пройдёт влюблённость».

В кружеве судеб осталась ветка ягодная, алая, рябиново-цветная. «Рябиновый цвет – любовь Зверяницы», – так она говорила... Кажется, я роняю слезу за слезой. Отвернулся бы ты, странник, и шёл бы своей дорогой!...»

– Глупенькая, – говорил Лжедиве-Зверянице Вихрь-Ворон. – Кто победит меня? Да тот же, кто и всё побеждает, – Ворон лежал, раскинувшись, а сероватый свет мерцал над ним. – На каждую силу – своя смерть, на каждую смерть – своя сила. Всему свой черёд, Преюшка, но до срока и зрелый плод не падает. Хочешь иносказание, Солнышко? Разгадай загадку. Любишь? Любишь загадки, Дива? – (Зверяница-Лжесолнышко быстро кивнула). – Где-то стоит вековой дуб, а на дубу – ларец с птицей...

Чудо-Конь разметал красную гриву, поэтому у края неба заиграло сочное зарево. – «Ну, это я понимаю, – рассуждал сам с собой Месяц. – Яйцо – это сводчатый купол неба и целый мир под небом. Если смерть Ворона – в яйце, значит она – где-то в мире. А смерть на конце иглы... Что же это? Игла пронзит Ворона, игла пронзит Зимнюю Ночь... Не понимаю!»

Искры сыплются из очей Чудо-Коня, пышущее пламя рвётся из ноздрей. Где пролетает он, там по земле бушуют грозы. – «Я догадался! – воспрянул Месяц. – Это же гроза, весенняя гроза побеждает зиму! Что такое игла – это молния? Есть молния-плеть, молния-стрела, молния-копье. Я сам был крошкой-молнией. Разве я – гибель Ворона? О, если бы было так просто! Есть молния-молот, молния-палица... молния-меч?!»

До дрожи в коленках вспомнился ему рассвирепевший тесть Всевед с его грозным мечом Молнией. Вот она, разгадка иносказания. Грозовой меч царя Стихий, молния Повелителя туч, что одним блеском прогоняет холод и мрак и устанавливает власть летнего зноя.

– Стой! – Громовник рванул железный повод, Чудо-Конь всхрапнул громовым раскатом и замер между землей и небом.

Крохотные люди снизу таращились на богатыря, зависшего наверху, в небе, как грозная туча. На огромной ладони богатыря полыхало золотое яблоко. Богатырь легонько подбросил его, яблоко с воем унеслось ещё выше, к небосводу, чуть не разбилось о купол и, отскочив, вернулось в ту же подставленную ладонь.

– Явись, мир-вселенная! – прогремел богатырь. – Всё скрытое и тайное, откройся мне на мгновение! Явись мир не таким, каким тебя знают земные люди, а неведомым, каким тебя и Стихии не видели. Возьму лишь то, что мне велено, а на большее не посягну, не посмею.

Вся Синяя Вселенная – с лазоревым небом, голубыми реками, морскими глубинами – в глазах богатыря переменялась за одно биение сердца. Везде, насколько хватало очей, произрастало вековечное Дерево. Его корни уходили в неведомые бездны, а ветви простирались в неизвестные дали. Взору Финиста открылось, что это не тучи клубятся в высоте под небом, и не буруны пеняются внизу в море – это трепещет листва вечного Дерева. Дожди, что орошают поля, и реки, что питают луга, – всё это брызжущий сок плодовой лозы, прильнувшей к Дереву. Финист вырос, а Вселенная всё больше открывалась ему тайными сторонами.

Открылось, что большую часть кроны – тысячи и тысячи ветвей Дерева – охватывал Ларец и что ветви росли через его кованые стены насквозь. Ларец был полон сокровищ – как величайшая драгоценность в нём обитали Стихии и люди. Под крышей Ларца парила в высоте необъятная глазом Мать-Птица. Её крылья в частую искорку были звёздным небом мира Стихий. Под крыльями Матери порхало Дитя Жар-Птица, светлое солнышко мира Стихий, что час за часом съедает золотые яблочки – отпущенные Судьбой силы и время.

Взросший Финист плечами коснулся пределов Ларца. Под крыльями Великих Птиц покоилось далеко внизу Яйцо из чистого хрусталя и золота. Чьё оно – Жар-Птицы или самой Птицы-Матери, – того не ведают и сами Стихии мира. Яйцо – это мир с голубым небом и зелёной землей, обиталище людей. Когда оно разобьётся, случится светопреставление, и горько восплачут неведомый Дед и неведомая Баба.

«...Неведомая Баба – это я, Судьба-Доля. А неведомый Дед – это Садовник, насадивший Дерево. Всё, довольно с тебя, Финист Светлый Месяц! Большого я тебе не скажу и не поведаю. Не то тебя ни земля, ни небо не вынесут. Возвращайся!...»

Громовник едва не перерос стены Ларца. Теперь, становясь меньше, он возвращался в хрустальный мир. Маленькие облачка бежали по хрупкому небу, крохотные звёздочки суетились, вода хоровады. Одно свободное местечко оставалось и для него, Месяца-Финиста. Когда-то он Соколом парил по родному миру.

А теперь стальная ось этого мира сияла перед ним как калёная Игла, как золочёная Всеведова Молния. Молодой Громовник протянул руку, схватил Иглу-Молнию... и мир тут же переменялся. Иссякло отпущенное Финисту мгновение. Синяя Вселенная стала такой, какой её видят тысячи людских глаз.

Бурей и смерчем летел Громовник по поднебесью. Копыта Чудо-Коня выбивали из облаков ливни. Булава, забытая игрушка, неведомо когда отцепилась и унеслась, пала в горы

и высекла из них водопад. Как похищенный огонь, в правой руке Громовника горел Молния-меч.

Холодное небо из ярко-синего стало тёмно-серым в разводах. Небесный купол стал ниже, Чудо-Конь сбежал с облаков на землю и летел по каменистым пустыням мимо руин городов, разорённых Вихрем-Вороном. Когда Конь перепрыгивал мёртвые реки, тогда Месяц видел, как впереди за камнями появлялись и льды – средоточие Воронова царства.

Скоро среди льда замерцал свет – это Молния-меч отразился от Зимних Чертогов. Чудо-Конь перескочил дворцовые ворота и, чуть задев их копытом, сотряс стену. От грохота попала оглушённая стража. Потёмок и Затмение, слуги Ворона, пытались схватить Чудо-Коня под уздцы, но кубарем покатались от него в разные стороны.

В руке Финиста-Месяца горел Молния-меч. Меч своим жаром плавил замковые стены.

– Солнце! Солнце! – кричал и звал Месяц. Студенцы-Морозы и Тучи-Мраки в страхе разбегались и прятались. Чудо-Конь сыпал из глаз искрами и всхрапывал дымом и пламенем.

Зазвенела и рассыпалась дверь из льда, на порог выскочила Прея – Ненаглядное Солнышко. Месяц осадил коня, но Чудо-Конь заупрямился, не признавая Диву или вообще не замечая её.

– Не выдавай! – пискнула ему Царевна и бросилась к Финисту-Месяцу: – Сокол мой, Светлый мой, Ясный мой! – заторопилась. Сокол одной рукой подхватил её к себе на седло, Чудо-Конь растерянно заплясал под ними, Финист взнуздal его и погнал вскачь через стену.

– Всё-таки я нашёл тебя, Прея! Семи мамок дочка, семи братьев сестра... – Сокол прижал к груди свою Ненаглядную, и Чудо-Конь перед прыжком застриг ушами. – Солнце-Царевна, Краса моя Несравненная! – не выдержал и закричал Месяц.

Чудо-Конь в прыжке зацепил маковку на башне-стрельнице. Заревели невидимые струны, будто бы хором заголосили и гром, и бесчисленные реки-водопады.

– Эй, что же ты делаешь? – всполошился Сокол. – Конь-Ветер, а спотыкаешься! Будто какую-то неправду чуешь?

– Я люблю тебя, – торопливо поклялась Солнце. – Слышишь, Чудо-Конь, я люблю его!

Конь услышал и успокоился. Смирился. Конь снова летел над пустынями, потом над реками и над студёными озёрами. Верхушки деревьев порою щекотали Чудо-Коню брюхо.

– Спасай меня, Месяц мой, спасай от самой себя! – такой странный сегодня голос у Дивы-Солнца. Прея уткнулась в плечо Месяцу и зачастила: – Сокол мой, я так ждала, так ждала тебя. Сердце кровью обливалось, алело, горело. Как рябинник рябиновой ягодой. Ох, что я наделала! Лишь бы тебя, Финист, дожидаться.

Месяц отвел от её лица волосы. Она была близкая и осязаемая – его Краса Несравненная, его мечта, его бред, умопомрачение Балды-Покатигорошка. Вот же она – из плоти и крови, пахнущая росой и кошеной травой. – «Разве травой пахла Прея-Солнце?!» – он заглянул ей в глаза. Вот, даже взгляд у Солнышка был другой. У Месяца в груди сердце на мгновение остановилось, заморозилось, и... как оттаяло.

Этот взгляд – так ему показалось, почудилось, ничего более! – подходил совсем другим глазам. Тем, что на узеньком, чуть бледном лице одной милой полудницы.

– И я тоже люблю тебя, Солнце! – он поспешил горячо выпалить это Царевне.

Про него, про ленивого Пастуха, говорили, что он изменил Солнцу с той самой полудницей. Неправда. С ней было всего лишь хорошо и спокойно. Они вместе смотрели на реку. Есть на небе волшебная река, что видна даже с земли, люди зовут её Млечным путём. Возле реки встречаются влюблённые и смотрят, как играют на ней воды. – «Ах, как же её звали? – он силился вспомнить. – Какая-то Звёздочка – Ночная или Полуночная? Рысица или Волчаница?» – она и Месяц всего лишь вместе смотрели на реку.

– Ты одну меня любишь? – настаивала женщина в розовом платье, женщина, которую он прижимал к груди. – Правда же, Месяц? Ты любишь только меня и никакую другую?

– Д-да, – неуверенно выдавил Месяц. И почему не прядёт ушами Чудо-Конь, слышащий неправду? Ах, как некстати, как не ко времени эти воспоминания! Из-за них он опять стал ленивым Пастухом, меланхоличным и мнительным, а не решительным и скорым Громовником.

Чудо-Конь, когда увидел Диву-не-Диву, то растерялся и задел стальной подковой гремучие струны. А те запели громами и водопадами, и Вихрь Ворон Воронович где-то далеко обернулся на гром:

– Ты слышал? – в тот час Ворон был на войне. Он только что казнил, а наказавшись всласть, вдруг миловал. Только что молотом заковывал в лёд целые города, угнетал их мраком и вдруг отпускал. Тьма отступала, лёд в городах таял и разбегался ручьями.

Что-то растаяло в стылой душе Ворона. Конь-Огонь только дивился ему, нынешнему:

– Слышу, – согласился конь. – Это твои Чертоги гремят, будто вешней водой исходят.

– Поворачивай! – в крике Ворона прорезался стон, он стал охаживать коня плетью. – Это Месяц! Месяц увёз моё Солнце... – за плечами Вихря-Ворона снеговая туча пролилась дождём и плачущей капелью. – Да торопись же ты, сыть волчья!

Конь-Огонь наострил уши:

– Беда, – не стал спорить, – был Ясный Месяц, я слышу. Увёз и любовь твою – ту, которую ты любишь.

– Дива! – Ворон недослушал его. – Успеем ли мы, Огненный Конь? Догоним ли Солнце?

– Солнце? За Солнцем не спеши, – Конь-Огонь не торопился: – Можно поле вспахать и рожью засеять, всходы взлелеять и колосья сжать, зерно намолотить и муку намолоть, хлеба испечь, досыта наестся и спать лечь. Девять дел сделаешь и то догонишь! Солнце догнать – не хитрость.

– Зубы мне заговариваешь?!

– Вот, слышу, и Хорт у тебя дома оцетинился – обман чуёт.

Стелются под брюхом Огня леса, катятся горы, мелькают города и выются реки. Внизу, где дрожит рябинник, выросший из крови и ревности, скачет Чудо-Конь с седоком и спасённой пленницей. Вот – вскинули головы, заполошились. Женщина соскочила на землю, заметалась, всадник нелепо закружил возле рябинника.

– Ты его видишь, Огонь? – выкрикнул Ворон. – Ух, как горит! – он зажмурился. – Уж не сам ли меч Молния в руке у юноши? – Ворон взмахнул молотом, словно насмерть ударил воздух возле себя. Воздух взвихрился, закружились тучи, из туч вырвались ветры и едва не выбили из седла Месяца. Конь-Огонь пал на него с неба ливнем с ненастьем. Поникла трава. Чудо-Конь взвился на дыбы и бросился в бой. Громовник что-то отчаянно закричал, замахнулся Молнией-мечом и ударил Вихря в голову. Ворон только зло ухмыльнулся.

Трещали дубы, крошились холмы и горы, паром вскипали и пересыхали реки. Бой не заканчивался. Пленница-беглянка, казавшаяся Солнцем, Всеведовой дочерью, то и дело вскрикивала, забившись в рябинник. Финист бестолково рубил Ворона, а Вихрь лишь хохотал да подставлял под Молнию-меч молот. Вдруг Дива взвизгнула и заголосила: Финист, орудуя Молнией, промахнулся, раскрылся, и Ворон зацепил плечо Сокола. Всего один удар молота – легонький, скользкий, и не в грудь, а лишь по плечу, удар, что сковывает реки и обращает в лёд города. Сокол-Месяц без крика и стога замер, закаменел, со звоном выронил меч и грузно упал в шаге от рябины. Вихрь-Ворон подобрал с земли Молнию-меч и взвесил его в руке, недобро сощурившись.

– Ворон, не надо!

Ворон не оглянулся. Солнце за его спиной заходила в крике. – «Строптивая Всеведова дочка осознала, наконец, что натворила», – протекла едкая мысль.

– Не руби его, Ворон!!! – крик, жалобы, мольбы впились в уши.

Ворон, стиснув зубы, махнул мечом и принялся рубить каменного Месяца в крошку. Иногда он, крикая, наклонялся, зачерпывал горстями осколки и швырял их в рябиновые заросли. После распрямился, вытер ладонью лицо и туда же, в рябину, выкинул меч Молнию.

– Собери его, Ворон, собери, как было! – обезумев, вопила солнечная Царевна. Ворон медленно обернулся на её крик и замер, будто бы только что увидел её.

Она ещё долго молила его. Кричала даже тогда, когда Ворон увозил её, силой усадив на Огненного Коня перед собою. Конь-Огонь смерчем летел назад в Зимние Чертоги, а эта девчонка, Стихия светлого Солнца, вопила и стенала, как будто у неё и в самом деле произошло горе...

В ледяных Чертогах, где морозным инеем сияет пламя в серебристом камине, Ворон Воронович вихрем носился по зале:

– Ты же любила меня, Прея! Ты отдалась мне сама, по любви! Я это почувствовал. Ведь я не принуждал тебя, Дива!

Лжедива в голос рыдала, закрывая лицо руками:

– Ненавижу! Ненавижу тебя... палач, душегуб.

Чёрный плащ крыльями взвился в воздух:

– Вон отсюда!!! – клыкастый пёс Хорт клубком шерсти вылетел вон из зала. – Когда ты любила меня в ту нашу ночь, когда отдавалась мне, ты тоже так думала: пускай придёт Месяц и убьёт его?! Да? Вы же – два светила, вы же – Солнце и Месяц! А я – кто? Мрак, чернота, лютая зима! Со мною рядом Солнцу и быть-то кошунство! – взъярился Ворон. – Что, угадал?! О-о! Я – Кошун, Кощей, ведь так? О-о, у природных Стихий имён так много... Стало одним больше!

Горячась, Ворон сорвал с себя плащ-крылья, скомкал их и бросил в камин. Пламя почеловечески вскрикнуло, обожжённое его крыльями, затрепетало и погасло. Лжесолнце снова зашла в крике:

– Ты – лжец, лжец! У тебя огонь морозит, тень обжигает. Всё ненастоящее, всё лживое! А где твоя смерть? Даже она поддельная! Солгал, ты солгал мне, Кощей стылый! – Лжедива залилась слезами.

Ворон ослабил нос. Нос заострился, а глаза потемнели:

– Ну, уж так заведено у бессмертных, – он поюродствовал. – Чтобы смерть не в срок пришла да не ко времени, так не бывает. А ты захотела, да? Горячо-горячо захотела, чтобы я умер и костями рассыпался? Так-то ему, злодею, и надо!

Весь издёргался Ворон, извёлся да так и выскочил из зала вон, разгорячённый. Только дверь за ним хлопнула, а Лжедива осталась одна в зале.

Зверяница что есть сил всхлипнула и застыла, поражённая.

«Как-как он сказал?» – побежали в голове торопливые мысли. Он сказал: «Не в срок». Зима, ночь и мрак... А ещё он сказал: «Горячо-горячо захотела?»

Ну, да! Зверяница стремглав бросилась по лестнице в нижние покои, туда, где над полом кровати дремала вороница с воронёнком.

– Улетай, воронушка, – закричала на бегу, – скорее лети! Если гибель Сокола – не в срок, если не ко времени, то Месяц теперь ожил! Он ко мне спешит! Торопись, скажи ему – пусть сегодня же увезёт меня. Завтра будет так поздно...

Именно в этот час в доме ягой Матери хрустнула и отвалилась от кружева вторая рябиновая веточка. Засохла. У ягой Бабы от дурного предчувствия сжалось сердце.

«...Отчаянная и бедная моя девочка! Я до боли в пальцах стискиваю рябиновую ветку с альми недоспелыми ягодами.

Это верно, что каждому свой черёд, и верно, что к Стихиям смерть не навек приходит – красному Лету на одну зиму, белому Дню на одну ночь. В особую ночь отведённый час наступает и мне, Старухе-Судьбе. Я буду спать мёртвым сном, и я не смогу вмешаться, чтобы

направить тебя, Зверяница. Мне горько так, как горько, наверное, смертным людям, когда выросших детей уже не уберечь от ошибок.

На земле в эту ночь бьют грозы, плачем кричат воробьи, а рябинники горят гроздьями алых ягод! Вечные Стихии, боясь накликасть беду, зовут эту ночь «рябиновой». В эту ночь, минуя кружево судеб, воплощаются на свой страх и риск самые горячие и самые тайные желания. Случается рябиновая ночь лишь тогда, когда против воли обстоятельств совпадут три условия – гроза, плач воробьёв и пожар рябины.

Дочь, ты обо всём подумала?... Зверяница!... Я вижу, как ты сомкнула зубки и стиснула кулачки на руках. Почему же мои глаза так часто стали точить слёзы?...

Ягая Баба окаменела лицом и принялась плести судьбы совсем других, посторонних и далеких от неё людей.

Под рябинами раскинулся, разметался убитый богатырь. Эти заросли рябины произросли недавно из крови Чудо-Коня в час незаслуженной обиды. Дивный конь, белый как день и чёрный как ночь, грива как алое пламя, вытянув шею, глядит теперь в небо. Маленький паучок ткёт там свою паутинку: одна перистая нить облака, другая, третья...

Чудо-Конь из осколков складывал тело Месяца, дыханием отогревал его. Рябина, протянув ветки, шевелила над телом богатыря листьями-пальцами. А небесный паучок, младшая стихия, так и не соткал облако с дождём. Чудо-Конь вытянул к небу губы и взмолился по-человечески:

– Появись же, весеннее облако! Прелейся, весенний дождичек! Нам ли, Стихиям, считаться, когда весна, а когда лето с осенью?

Ведает Чудо-Конь, этот край теперь навек славен и плодороден. Здесь землю вспахали мечом Молнией, а телом Финиста засеяли. Здесь бы Финисту и прорасти новой жизнью. Но где взять воды, не мёртвой, стоячей и чахлой, но живой, бегущей и говорливой? Только из вешних вод да из весеннего дождя с громовыми перекатами! Но не даёт небо дождя...

В рябиннике что-то полыхнуло, будто огонь загорелся. Чудо-Конь зубами выкатил из травы Финистово золотое яблоко. Лизнул его, ища себе жизненной силы, ухватил губами и метнул в самое небо. Золотое яблоко унеслось и больше не возвращалось.

Тогда-то кладовые на небосводе раскрылись, хлынул на землю весенний ливень... Но Чудо-Конь только простонал, как от боли – кругом рябинника дождь поливал землю, а тело Месяца даже и не обрызгал.

«...А что ты хотел, вещий Конь? Такова месья Всеведа. Вот он сам, Чернобородый, молнией-глазом из тучи зыркает. Я-то одна его вижу, я да ещё вот ты, Чудо-Конь... Гляди сам!...»

В хлещущем дожде, в самом ливне, едва ли не утопая в тяжёлых струях, летела к Чудо-Коню вороница с воронёнком. Её птенец вымок, измаялся, был чуть живой. Конь подскочил и ухватил его за крыло – чахлого, полумёртвого.

– Слышишь, вороново перо? – Конь зубами бережно держал воронёнка. – Ну-ка, спасай малыша. Ты, вороница, младшая стихия, чёрная Ночка и чёрная Тучка. Принеси мне живой воды!

Вороница, каркнула, бросилась под дождь и скоро вернулась, истекая потоками вод с чёрных крыльев. Живая вода на её перьях стала особенно сильной. Окропленный птенец ожил, затрепетал да и сам вырвался из пасти Коня – крепкий, здоровенький.

– Теперь богатыря, – приказал Чудо-Конь.

Говорливая вода, шумящий дождь пролился с крыльев вороницы-тучки на Месяца. Где-то прокатил весенний гром, и Громовник очнулся. Светлый Сокол воспрянул, а ливень иссяк. Ещё сверкали последние молнии – это Финист очищал Всеведов меч травой. Просветлело.

Вдруг радуга-вестница вырвалась из-под крыльев вороницы – дождевой тучки:

– Пробудись, любимый, очнись! – Дива-Солнце сверкнула под облаками. – Ясный Сокол, не опоздай! Спешу, пока ночь не настала, – воскликнула вестница.

Вспышкой в небе блеснул Молния-меч, бросился вскачь Чудо-Конь. Финист Светлый Месяц стрелой летел над лесами, горами, пустынями. Из конских ноздрей рвались дым и пламя, грива и хвост Коня заревом стелились по небу.

«...Ты слышишь громовой всхрап Коня, бродяга! Ты испугался? Ты видишь зарево на половину неба! То-то ты восклицаешь: „О, идёт ненастная ночь! О, движется грозная буря!“ Дрожи, о бродяга, дрожи...»

Зарницей, подступающей грозой, блеснул Молния-меч, отражаясь от дверей Зимних Чертогов. Дива Красное Солнце сама выбежала навстречу Месяцу. Клыкастый пёс Хорт почему-то увивался у её ног.

– Сюда, Месяц! Сюда, мой Сокол! – кричала и махала рукой Дива-Прея. Финист на скаку подхватил её, а Чудо-Конь на лету вздыбился, повернул и понёсся назад, прочь от Чертогов. Пёс Хорт недолго бежал за ними по земле, но скоро отстал, рывкнул что-то своё, ворчливое, и потрусил домой.

Из ворот Чертогов, не торопясь, выходил Ворон Воронович. Леденящего боевого молота при нём не было. Был меч – чёрный и обоюдоострый. Ворон устало держал руку на его рукояти.

– Опять сбежала? – спросил нечувственно. – Пускай. Я давно подозревал, что Дива-Солнце бросит меня.

– Фальшь! Фальшь! – зафыркал пёс Хорт, щетиня шерсть на загривке. – Кругом – фальшь. Две фальши!

– Сразу две? – усмехнулся Вихрь. – Ну, первую я знаю. Согласен, я лгу, что её побег мне безразличен... – он помолчал. – Разве и вправду – пуститься, догнать, отомстить? – он с шорохом потянул меч из ножен.

В этот миг распахнулись подвалы. Пламенный Конь-Огонь сорвался с цепей, но запнулся о порог и затряс ушибленным копытом.

– Что спотыкаешься? – вспыхнул Вихрь. – Один щетинится, другой спотыкается... Что это? Не догнать мне Прею? Так и скажи.

– С тобой твоя Несравненная, другой раз тебе говорю, – Огонь дохнул пламенем. – А вторую, которую ты любишь, догнать-то не трудно.

– Вторую... Какую вторую... – Ворон был отчего-то несобран. – Да что это ты мелешь! – досадуя, он вдруг поперхнулся, закашлялся – третья плохая примета. – В бой!... – сумел выкрикнуть.

«...Если бы в ту ненастную ночь, бродяга, ты решился поднять голову, то при вспышке зарниц увидел бы, как несутся по небу две тени, как бы два облака. В первом прижималась к двурогому месяцу яркая звёздочка в облачении солнца. Во втором клубилась вихрь и простиралась чёрные с проседью как у старого ворона крылья. За звуками грома ты бы услышал стук конских копыт, а с чутким как у певца слухом – даже и крик той звёздочки-лжесолнца...»

– Быстрее! – кричала Зверьяница в полёте над городами. – Быстрее мчись, Чудо-Конь! Хотя бы до рябинника донеси нас, а там тебе и упасть не стыдно!

Ненастье разразилось над городом, возле которого два дня назад сами собой явились рябиновые заросли. Люди боялись заходить в них. Вчера там было страшное чудо: над рябинником боролись бури и громы, а после многие видели огромного Коня – наполовину чёрного, наполовину белого с алым хвостом и гривой. Городские птахи: воробны, голуби, воробыи и синицы – с перепуга примолкли и уже другой день как не подавали голоса.

Чёрный Вихрь, наконец, настиг Звезду и Месяца, меч Ворона Вороновича провил над головой Сокола. Ворон напал первым, бил уверенно, он вымещал досаду, не давая Месяцу ни отдыха, ни передышки. Он бил наотмашь, двумя руками, совсем, кажется, не заботясь об обороне. Финист, напротив, отбивался с трудом, его Молния-меч вслепую куда-то колол, а Ненаглядная Красота за спиной Месяца только мешала – не изловчиться, не подсесть руку Ворона, а то и не замахнуться, как следует, не ударить его по шлему.

– Свет-Соколик, ну поддайся же ему хоть на один миг! – крикнула вдруг под руку Зорька-Лжедива. – Надо, чтобы у тебя кровь брызнула! – Ясный Сокол растерялся и пропустил удар. Бегущий по широкой дуге меч полоснул кончиком острия левую руку у Месяца.

Брызги крови взлетели и упали на рябиновые ветки. Рябина обожглась, точно это были калёные угли, закричала от боли как человек и тотчас вспыхнула кроваво-алой ягодой.

– Рябиновая ночь! – закричала Зорька-Звёздочка, заранее торжествуя.

Она выпустила рвавшееся из рук золотое яблочко. Яблоко взвилось косматой кометой, устремилось в небо и сгнуло.

– Эй вы, птахи, – Зверяница горячо зашептала: – Городские воробьи, ну-ка, заорите мне в три горла, я вам приказываю.

«...В ту ненастную ночь воробьи ближнего городка разом хрипло чирикнули и как подавились – будто поперхнулись своим же страхом. А знаешь почему, горожанин? Воробьям страшно на всю ночь усыпить меня, Судьбу-Долюшку, пусть не милостивую к ним и суровую, а всё же свою, пусть голодную, но привычную...»

Ворон налетел на Финиста, а раненый Месяц пошатнулся в седле. Испуганная Зверяница взвизгнула и, торопясь, зачастила сбивчивым шёпотом так, чтобы кроме воробьев никто её не услышал:

– Кричите, кричите же, я кому сказала! Я – Зверяница, хозяйка зверей и птах. Ух, мелочь неразумная! Вам зима больше в радость? Зимой кричите, а теперь не желаете? Вот всех вас повыловлю, ножки паклей свяжу, запалю и выпущу! Сами свой городишко и подожжёте.

«...Ещё миг, бродяга, и кружево судеб на целую ночь выпадет из моих пальцев... Сон так похож на зиму...»

Воробьи завопили, закричали – прямо в грозу да в ночь, не столько от страха и угроз, сколько от жалости к себе, горемычным. Рябина на ветках вспыхнула рубиновым светом, загорелась огнём. «Получилось! Совпало!» – тут бы и радоваться Зверянице, ведь это сошлось: и битва-гроза, и рябиновая кровь, и воробьиный плач среди ночи!

Ворон Воронович вдруг, замахнувшись, придержал чёрный меч, с тоской поглядел Лжедиве в глаза и сморщил лицо как от боли. Зверяница судорожно всхлипнула, потому что у неё тоже защемило сердечко, а Месяц-Финист как раз в этот миг неуклюже ткнул перед собой тестевым Молнией-мечом и попал Ворону в сердце. Тот покачнулся и с грохотом рухнул с коня.

– Ворон! – вырвалось у Зверяницы, она закричала с надрывом: – Нет!!! Месяц, не надо, ой, ну зачем же... – она задохнулась.

– Что – зачем? – Месяц обернулся, быстро обнял её, прижал к себе. – Всё уже кончилось, мы его победили!

Зверянице сделалось душно. Кажется, это оттого, что Месяц всё целовал и целовал её в лицо, а вот она его поцелует и не запомнила. Не отрываясь, она глядела, как бурая кровь толчками рвётся наружу из раны Ворона. Рябиновая ночь... Ой, как это больно... Ведь в рябиновую ночь Ворон горячо, до судорог на измученном лице, пожелал ей расплаты.

За розовое сияние её плеч, что оказалось обманом. За милую игру в чужие чувства, что ей понравились. За ночь вероломной любви, за день искренней измены.

«Солнышко, бедное лживое Солнышко! – кто-то тихо говорил ей в самое сердце: – Теперь ты чувствуешь? Вот теперь и тебе стало так больно, как было больно ему. Так возьми же, получи Воронову погибель...» – и Зверяница застонала.

Три самых тайных, три самых горячих желания трёх Стихий сбывались одно за другим в эту рябиновую ночь.

«Три или четыре?...» – вдруг пронеслось в её голове.

– ...Зверьяница? – растерянно узнал её Месяц.

«Нет, отчего же четыре? – она заспорила. – Здесь три Стихии, а не четыре – я, Месяц и Ворон... – она растерялась. – Ах, милый глупенький Месяц, сбилось и твоё желание? В рябиновую ночь ты захотел лишь понять, кого же второй раз спасаешь – прекрасную Диву-Солнце или, может быть, ту... другую. Теперь вот узнал! Счастлив ли?»

– Зорюшка моя ласковая, звёздочка моя, Зверьяница, – как нежен, как трепетен, как ласков с ней Ясный Свет-Сокол, когда целует её, такую запутавшуюся... В чём же она запуталась? В том ли, что натворила, или в его объятиях?

Голова Зверьяницы кружилась. Что крепче – любовь или какие-то там нелепые забытые ошибки!

– Ме-есяц, – она, кажется, вслух тянет его имя. Мурашечки так сладко, так щекоотно бегут по её коже. Она на мгновение млеет, но всхлипывает снова, и наведённый, чужой, краденый солнечный облик вдруг гаснет и растворяется: она больше не Солнце, она снова полудница, с которой пастух Месяц глядел в воды Млечного Пути.

«Бедная, бедная Зверьяница... – ой, что это такое, новый голос стучится прямо в сердце: – Ты так хотела, чтобы Месяц полюбил тебя, и полюбил крепче, нежели Солнце. Что же теперь? Ты разве не рада? Ох, и не сладки становятся мечты, когда несправедно сбываются...»

– Лучик вечерний, искорка закатная, – всё повторял Месяц и ласкал её бледное личико. – Звёздочка моя ненаглядная. Ненагля...

Она почувствовала, как на её спине оцепенели руки Месяца, а губы его стали какие-то деревянные. Медленно высвобождаясь, она оглянулась. Позади них над телом Ворона стояла и величественно хмурилась сама Ненаглядная Красота Жива, Царь-Девушка Пряя, Красная Дива-Солнце. Розовое сияние поднималось от неё в воздух и крепло, охватывая половину неба.

Ночь кончилась. В рябиновой заре заструился звенящий солнечный свет. Солнце благоклонно склонила голову, слушая, как звенят ей славу утренние малиновки, дрозды и трясогузки. Не торопясь, Царевна сочла возможным заметить и Зверьяницу:

– Снегурочка? – она холодно разомкнула губы. – Моя падшая с неба и замёрзшая полудница?

– Дива-Солнце, – руки Месяца безвольно повисли, он и не почувствовал, как Зверьяница соскользнула с его Чудо-Коня и как отпрянула.

Дива-Пряя придерживала под уздцы Воронова коня. Наконец-то Огонь покорился Солнцу: тот самый Огонь, что напугал её в детстве своим буйством. Дива крепче натянула повод и сумрачно поглядела на Месяца.

– Освободитель... – она фыркнула. – Ладно, когда земной королевич спутал меня со Зверьяницыным Волком. Простила бы! Что взять с человека? Но ты, Ясный Месяц! – она сухо посмеялась. – Не отличить меня, Несравненную, от полудницы, от простой звезды – моей служанки. Ох, как низко ты пал в моих глазах, милый, – протянула она.

– Пряя, моя Царевна, – Месяц начал оправдываться. – А я по-прежнему люблю одну тебя, я же... – он стал неуверенно теревить перевязь ножен тестева меча-Молнии.

– Ещё бы! – Солнце ловко вскочила в седло и глянула свысока на полудницу.

Тут Зверьяница опомнилась и выкрикнула ей вслед что есть силы:

– Так ведь четыре! Четыре желания сбывлись, а не три! – в крике она сжала кулачки. – Солнце, это не Ворон тебя нашёл и разбудил, это рябиновая ночь! Ты бы до сих пор спала в его кладовой. Я поняла: ты всю жизнь хотела любить такого как Ворон, Царевна. Ты его во сне как мужа пожелала – признайся!

Прямая спина Дивы была ей ответом. Преля немного – всего чуть-чуть – повернула к ней голову и небрежно бросила через плечо:

– Ты лучше бы помолчала, Снегурочка. Сама-то хороша... Я ведь и простить тебя могла бы – просто так, от широты души. А теперь вот ни тебя, ни моего Месяца вовек не прощу. Сокол-Финист, слышишь! Поторопись.

Их кони тронулись. Шаг за шагом они всё выше поднимались в небо. Светлый Месяц вдруг оглянулся и с несчастным видом глянул вниз, на Зверяницу.

Полудница так похолодела, что едва не покрылась снежной корочкой. Ох, что она натворила, бестолковая! Ведь Месяц-Бедняга по-прежнему любил Солнце, а теперь больше Красоты Ненаглядной полюбил её, Зорьку-полудницу, и на веки вечные обречён этим маяться. Ох, будь же оно неладно, её сбывшееся потаённое желание!

Обрывки их разговора ещё долго долетали до ушей Снегурочки.

– Царь Всевед, батюшка твой, всё ещё на нас гневается...

– Отец будет только рад нас увидеть. Ты не знаешь отца! Его заветная мечта исполнилась – я полюбила Ворона, а ты был в куски изрублен мечом Молнией. Ха! Да отец будет просто счастлив!

– Ты так думаешь? Солнышко моё, Преюшка...

– Не заискивай!... Как ты мог, несчастный, нас с нею перепутать? Принять за меня мою девку-полудницу, мою служанку Зорьку, что стелит мне красные дорожки, когда я схожу в опочивальню...

– Прости... Ты всё-таки – Царица, тебе гневаться – себя не уважать...

– Её, может, и прощу, а тебя нет. Шагу с тобой ночью по небосклону не сделаю! Я так решила. Тебе ночь, а мне день – разделимся! Ты ещё попросишь, попросишь меня днём рядом со мной хоть шажок прогуляться...

В край, где у Снегурочки жили приёмные родители, пришло лето. Снегурочка вернулась в свой дом, и соседи увидели, как она повзрослела. Юный пастух, игравший ей на свирели, и купчик, возмужалый и уверенный в себе, по-прежнему к ней сватались. Мизгирь и Лель? Снегурочка не могла запомнить, кто из них кто. Стихии не различают людей по лицам и не запоминают их имён.

Заметили, что Снегурочка стала грустнее прежнего. Она чаще смотрела в небо, где опять появились месяц и солнце, а выражение её лица странно менялось. Так бывает, когда человек следит за кем-то близким и родным, но добраться до него не может. Река или пропасть их разделяет.

Снегурочка сама подговорила всех устроить за городом праздник с кострами. Это потом стали придумывать, будто то, что приключилось с ней на празднике, это несчастный случай и чья-то оплошность. Костры горели высоко и жарко. Прыгать через них было до жути весело. Когда Снегурочка прыгнула и над огнём сделалась прозрачной как пар, все закричали и перепугались. Полудница же, как невесомое облачко, поплыла себе вверх, к солнцу и месяцу.

«Как легко и приятно, – думала освобождённая Зверяница. – Бедные люди, они, наверное, за меня волнуются. Напрасно. У моей сказки конец счастливый».

«...Конечно, счастливый. Вернуться домой после дороги в тысячу вёрст, вернуться туда, где тебя примут и где простят тебе всё, что ты над собой сделал – это ли не счастье. Ты это знаешь и сам, вечный скиталец! Прощай же, кем бы ты ни был на своём пути – торговцем, рыболовом или воином.»

Судьба-Доля почти досказала тебе сказку про одну из тысяч её дочерей. Наверное, у неё, как и у меня, есть нечто твоё – человеческое. Зачем это мне или ей, я не знаю. Может быть для того, чтобы научиться различать вас по лицам?...»

Солнце и Месяц ходят теперь по небосводу порознь. Месяцу досталась холодная ночь. Иногда он робко появляется при Солнце, на закатах и восходах, но Солнце либо его не замечает, либо сразу к нему холодеет и, виновато краснея, спешит скрыться.

На небосводе в хрустальном дворце разрешили Зверянице оставаться Вечерней Звездой, но дозволили появляться на небосклоне лишь некоторую часть года. Завистливая румяная Дневница, Утренняя Звезда, была весьма рада такому наказанию.

Зверянице по-прежнему мил грустный и растерянный Месяц. Но иногда... Иногда она со сладкой болью в душе вспоминает сильные руки Ворона Вороновича и его жёсткие чёрные волосы.

Ворон Воронович скоро поправился. Смертельная рана в груди сама собой затянулась, а рана в сердце, говорят, осталась. Своё сердце он с этих пор надёжно запрятал куда-то далеко, в стальной Ларец – в мир людей и Стихий. Ветры и звёзды шепчутся, что Солнце изредка, но приходит по ночам к Ворону. Стыдливо краснеющий небосвод выдаёт приближение таких ночей.

На примирение с Солнцем Месяц надеется по-прежнему. Он то чахнет от тоски и худеет, то воодушевляется и снова полнеет. Иногда они с Солнцем сближаются, но их нежность смешивается с упреками, а страсть оборачивается досадой, и по земле разливается тьма от затмения.

Со Зверяницей бедняга Месяц с некоторых пор часто видится. Они вместе сидят на берегу Млечного Пути и смотрят вниз, на людей. Последнее время Зверяница ловит себя на том, что стала различать людей по лицам и даже запомнила некоторые их имена.

Вон, ходит по своей стране Славка-царевич, несостоявшийся муж Ненаглядного Солнца. Когда Несравненная Красота на брачном ложе вдруг обернулась матёрым Серым Волчищем, царевич едва не лишился рассудка. Зверяница виновато хихикнула. Впрочем, Славка-царевич скоро женился на ключнице Малуше и теперь растит сына. Иногда в помутнении разума он, правда, зовёт сынка Красным Солнышком, но это оттого, что он думает, будто отрок – сын Несравненного Солнца. Ягая Мать как-то выдала Зверянице тайну, что этому мальчику суждены великие дела и свершения.

А возле моря живут старик со старухой – те, что вырастили Ясного Месяца, когда он был ещё Покатигорошком. Старик ни с того ни с сего занялся рыболовством и сказочно разбогател. Но также внезапно разорился и, когда вспоминает о былом богатстве, почему-то косо посматривает на старуху с её расколотым корытом.

«Странно, – замечает Зверяница. – Старик так привязан к старухе, что, кажется, простил и прощает ей всё, чтобы ни случилось, и, видимо, многое ещё простит в будущем. Неужели это и есть та самая любовь до гроба?»

А в маленьком городке доживают свой век приёмные родители Зверяницы. У этих добрых людей так и не появились свои детки. На людях они никогда о том не печалились. Когда же настало время уйти, они ушли мирно. Похоронили их рядом, а над могилами сами собой выросли два дерева и переплелись ветвями. В том городке их вспоминают, когда хотят рассказать о верности, о любви и преданности.

– Знаешь, Месяц, – размышляла, глядя на них, Зверяница, – я вот думаю, что есть что-то неправильное в нас, в Стихиях. На земле только по ошибке зовут нас богами. По-настоящему любить умеют именно земные люди, а вот мы, бессмертные Стихии, кажется, не научились. Нам до них далеко, правда? Это оттого, что у людей Любовь живёт в сердце, а её Свет всегда говорит с ними. Я это недавно почувствовала. Знаешь, что я подумала... По-моему, такой Свет и есть величайшая в мире Стихия. Как ты думаешь, Месяц?

Месяц задумчиво смотрел с неба на своё дрожащее в глади озера отражение и помалкивал.

Лебеди зовут с собой

1

Афины, провинциальный городок на задворках Империи

Над крышами домов и крепостными башнями кружили лебеди. Осыпав белым пухом улицы, они улетали за городские стены. Когда стая скрылась, лебединый пух долго витал в воздухе. В вышине плыли перистые облака, они так похожи на пух или на лебединые крылья. Облака уплывали к закату, туда, где вдали поднимались горы.

В тот день Евтихию впервые подумалось, что лебеди куда-то его зовут.

Весна, они вернулись на родину. Здесь, в этой стране, у птиц была родина. Здесь Греция. Кто-то сказал Евтихию, что он эллин, а значит Эллада – его страна. Евтихий провёл по лицу ладонью. У эллинов принято носить бороды, но его лицо было выбрито по западному латинскому обычаю.

Над гаванью среди холмов и оливковых рощ стояли Афины. Каменные дома белели на солнце, а тесные улицы были залиты нечистотами. На востоке вросли в землю развалины Парфенона, языческого храма совоокой богини. Городские ворота были закрыты, но за умеренную плату стража впускала и выпускала прохожих через тесную дверцу.

В полусотне шагов от ворот к городской стене прижимался трактир. Это было полутёмное помещенье, где окна затянуты паутиной, а на лавках лежал слой уличной пыли. Евтихий приостановился на пороге и подождал, пока глаза не привыкли к полумраку.

Пахло жареным мясом. На полу валялась солома. Хозяин суетился с кружками и кувшинами. Немного погодя, Евтихий отыскал нужного человека – чиновника из ведомства правителя города. Тот прихлёбывал под окном жидкое варево из глиняной чашки. Евтихий встал у него над душой и молча сложил за спиной руки. Чиновничек поднял заплывшие глазки:

– Ой, да помню я, помню твоё дело, – начал оправдываться. – Не сегодня – так завтра. Предписание ты получишь. Со свинцовой печатью и чернильным росчерком правителя: «Именем императора, 1110 года Царства греческого, 799 года Господня, 515 года эры Диоклетiana или Мучеников чистых...»¹ – под взглядом Евтихия чиновник смолк и отодвинул от себя чашку. – Ну, клянусь, не пройдёт и дня, как ты это получишь.

– Сколько же длится день в твоём ведомстве? – спросил Евтихий так сухо, что чиновник заёрзал.

Подсуетился трактирщик, он спросил, не желает ли гость старого вина. Евтихий отрицательно качнул головой. За эти мгновения чиновник осмелел и ни с того ни с сего отчитал Евтихия:

– Эх, что тебя тут держит, Евтихий Медиоланский! Ты – эллин чистых кровей...

Евтихий молча сверлил его взглядом. Другой бы смешался, но чиновник выучено смотрел куда-то мимо человека:

– Ты не армянин, не сириец и не хазарин, как те, кто хочет выслужиться в провинции. Ты эллин, тебе бы жить в столице и гулять в золоте. Что тебе искать в глухомани?

¹ Начало 799 года по современному летоисчислению.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.